



*Анатолий
Тосс*

Магнолия. 12 дней

Анатолий Тосс

Магнолия. 12 дней

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6240486

Магнолия. 12 дней: Роман / Анатолий Тосс.: Издательский дом Компания Элиот; Москва; 2012

ISBN 978-5-905356-04-09

Аннотация

«Магнолия. 12 дней» – первый по-настоящему реалистический, по-настоящему «русский» роман Анатолия Тосса. Как всегда бывает в книгах Тосса, «Магнолия...» наполнена откровением и психологизмом, юмором и драмой, глубокими мыслями и лирикой – и все это мастерски замешено на динамичном, держащем в напряжении сюжете. «Магнолия...» – это книга про всех нас, про нашу жизнь, недавнюю и настоящую. Роман, без сомнения, захватит и двадцати-тридцатилетних читателей, и тех, чья юность проходила в конце прошлого, XX века. Ведь все наши искания, ценности, переживания, победы – они, так или иначе, неизменны во времени и, не девальвируясь, остаются с нами навсегда.

Содержание

Начало	4
Вставка вторая	38
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Анатолий Тосс

Магнолия. 12 дней

Посвящается моим родителям

Начало

Уже год как я живу в маленьком городке с поэтичным названием Магнолия. На самом берегу Атлантики, в Новой Англии, на севере штата Массачусетс. Кажется, что не может быть большего соответствия между местом и его названием.

На сто двадцать восьмой дороге, которая ведет из Бостона в Майн, на съезде номер пятнадцать, надпись «Magnolia» не раз дразнила и завлекала меня. Два раза в неделю я возил сына на тренировки в Манчестер, маленький, утопающий в зелени прибрежный городок, там находится филиал «Теннисной Академии Ника Боллеттиери». И каждый раз, съезжая с шоссе, я задерживался взглядом на зеленом щите с крупными белыми буквами на нем. И каждый раз думал, что надо бы заехать, посмотреть, но все не заезжал. Слишком увлекала меня игра Мика. Оказалось, что его упрямство и самоуверенность, досаждающие в обычной жизни, на теннисном корте стали достоянием, очевидным талантом: он боролся за каждый мяч, забывая об усталости, о своем зудящем, замученном теле.

Нет ничего более упоительного, чем победы твоего ребенка. Собственные победы, какие бы значительные они ни были в жизни, ничто по сравнению с победами детей. Вот я и сидел, недвижимый, на трибуне, полностью поглощенный игрой сына.

И все же однажды я заставил себя оторваться от теннисного матча, сел в машину, свернул с узкой проселочной дороги в сторону шоссе, переехал его по маленькому горбату мостику, вывернул на другую дорогу – тоже узкую, проселочную. Справа густой сосновый бор сменился лиственным лесом, слева невысокие холмы закрывали горизонт, порой деревья склонялись над дорогой, образуя тенистую арку. И тогда яркое, разнужданное летнее солнце притуплялось, переплетенное наслоение больших, едва трепещущих листьев поглощало его, растворяло в своей зеленой влажной массе. Я выключил кондиционер, открыл окно, выпуклый ветер ворвался внутрь машины, обогнул меня, забился в заднее стекло. Я вдохнул. Свежесть и в то же время упоительное спокойствие – вот что нес в себе ветер. Чудесное, редко встречающееся сочетание. Оно подошло мне. Именно его я и искал. Уже давно.

Дорога вильнула вправо, показались домики, потом миниатюрная, почти игрушечная площадь – пустынная, необитаемая. Ни машин, ни людей, скромный ресторанчик на углу, на другой стороне кофейня, пара магазинчиков, никто не выходил из них, никто не входил.

Маленькие городки Новой Англии вообще обладают притягательным очарованием – аккуратные, с белыми деревянными, утопающими в цветах домиками, они кажутся нереальными, будто сошли с гравюры, с иллюстрации старой сказки. В них нет напыщенности европейских городов, нет наваливающегося камнем средневековья – простые, без излишеств, но милые своей немудреной простотой, они обещают размеренность и замедленную, распыленную в воздухе скуку. Но не острую, раздражающую, а размытую, плавную, ритмичную, дарующую покой, будто время ползет не через тебя, а огибая и ты избавлен от его обычно беспощадно-жесточкой поступательности. Но здесь, в Магнолии, даже привычная медлительная прелесть казалась утрированной, разросшейся, втягивающей в себя, поглощающей.

Я притормозил, повернул направо, остановился, во мне вдруг возникло ощущение, что тут, по узким, горбатым улочкам невозможно ездить быстро, что скорость тут противоречит законам физики, что воздух загустел, промаслился и не пропускает через себя, замедляет движение. А еще казалось, что все кругом спит – редкие машины, примостившиеся у тротуара, дома, растянувшиеся вдоль растопленной солнцем улицы, оцепеневшие, будто застывшие в ожидании цветы, нужно было приглядеться, чтобы заметить, как они едва колыхнутся в легком бризе.

Наконец показалась машина, она ползла, едва вращая колесами, казалось, что она сейчас остановится и тоже заснет. Потом появился пешеход, пожилой господин в белом льняном пиджаке, дошел с заметным усилием до кафе, потянул на себя дверь, из нее выползли, скрючиваясь, переплетаясь между собой, звуки медленного, тягучего блюза. Никакая другая музыка вырасти здесь, в этой густой, промасленной тишине, не могла. Я заглянул внутрь кафе. На столике перед пожилым господином уже стояла чашка кофе, но толстое витринное стекло еще больше размазало, размыло его черты.

Здесь все спало – люди, машины, дома, ну а если что-то все же бодрствовало, то лишь едва, с чрезмерным трудом, и либо только что проснулось, либо, наоборот, вот-вот готово было погрузиться в непреодолимую дрему. Даже легкий, едва касающийся кожи бриз не освежал, а нес успокоение, гипнотизировал, рассеивал внимание, усыплял.

Я отделил машину от тротуара и медленно двинул ее вперед. Дорога поднималась в горку, небольшую, но крутую, я видел, как она на перегибе сливается с небом – синим, прозрачным, невесомым. Оно не давило, не требовало внимания, вообще не обозначало своего присутствия – ни облаков, ни движения, только эфирная, незаметно нарезанная слоями недвижимая прозрачная голубизна, и ничего более.

Наконец я подобрался к вершине задранного вверх дорожного полотна, преодолел последние метры, вскарабкался по ним, моя машина остановилась и замерла, и уже не могла шелохнуться.

Я зажмурился. Слишком много света, слишком много слепящих, умножающих друг друга бликов. Прямо передо мной – впереди, слева, справа, – везде блистал раскинувшейся лазурной гладью океан. Собственно, больше ничего, только океан и небо, и непонятно, что в чем отражается. Они почти слились двумя параллельными плоскостями, разве что океан был гуще и насыщенней и цвет его был более плотный, утрированный. И еще он переливался, словно миллионы зеркал, едва меняя углы, отражали небо, растекшееся по нему солнце, свет соседних, также ослепительно сверкающих зеркал.

И вдруг я почувствовал облегчение. Будто долго брел, петлял, путался, терял направление, ориентиры, но вот наконец добрался, дошел до цели. Та напряженная, плотная жизнь – плотная событиями, эмоциями, потерями, приобретениями, требующая постоянной концентрации, усилия, риска, – она осталась позади, за той самой горкой, которую только что преодолела моя с трудом вращающаяся колесами машина. И вот теперь ничего больше не нужно. Совсем ничего. Только смотреть на завораживающие блики, впитывать их преломленный свет, несущий упоение, освобождение, очищение... Непривычное, необъяснимое, но щемящее, явственное ощущение.

Не знаю, как долго я не мог оторваться от них, от отраженного океаном неба, почти однозначно повторяющего океан. А потом все же отвел взгляд, заставил себя – машина зависла на верхней точке небольшого, вдающегося в океан уступа; вокруг, пребывающие в летаргическом небытии, громоздились хаотично вписанные в берег все те же белые, плывущие в сонном воздушном мареве домики. Я вышел из машины, дверь не захлопнулась, а, застряв в густом воздухе, едва прикрыла прореху опустевшего салона. Справившись с дверцей, воздух обступил и меня, залепил рот, забил ноздри. Он выполз из глубины океана, бессчетными своими молекулами окутал меня, пробуя на вкус, примериваясь, пыта-

ясь разобраться, той ли я, что и он, воздушной породы. В нем растворились водоросли, стаи блестящих рыб, ползущие по дну лангусты, моллюски в приоткрытых, засыпанных мелким песком раковинах. Запах казался живым, материальным, его хотелось потрогать, как будто можно было протянуть руку и оцупать его – я протянул, но он обидно просочился сквозь пальцы.

И тут я понял, я должен жить именно здесь, в этом наркотическом, пропитанным лотосом городке. Засыпать, окутанный всплывшим из глубины океана запахом, спать под мерные накатывающие прибоя, пробуждаться от скользящих в воздухе бликов.

Так бывает, хотя и редко, когда пронзительное чувство мгновенно охватывает тебя и уже не отпускает. Когда вдруг неожиданно понимаешь – ЭТО МОЕ. Понимаешь, что ты принадлежишь этому месту, а оно принадлежит тебе. Что вы друг для друга естественное, единственно возможное дополнение.

На следующий день я отыскал в Интернете телефон агентства недвижимости, позвонил и вскоре уже подыскивал себе домик. Я не привередлив, мне не нужна ни роскошь, ни лишние этажи, ни обрисованные нулями квадратные метры. Уют – вот что я ценю больше всего, тепло дома, чтобы опять же сразу возникло внутреннее ощущение взаимной принадлежности: тебя – дому, дома – тебе. А еще было важно, чтобы Мик всегда находился поблизости, чтобы я мог постоянно слышать его, наблюдать за ним, чтобы его жизнь своими маленькими детскими интересами, мечтами, потребностями переплеталась с моей жизнью. Только такое переплетение приносит смысл отцовству.

Я выбирал лишь из тех домов, что стояли на берегу, в первом ряду, чтобы ничего не отделяло нас с Миком от океана, не мешало его проникновению в нас. Конечно, не все дома были мне по карману, я должен был сочетать свои желания с возможностями, но все же книги мои не зря наделали переполох в мире, и поиск вскоре увенчался успехом. Затем последовала малоприятная процедура торговли, неизбежная бумажная волокита, и наконец я стал еще одним жителем маленькой, нереальной, всеми забытой и забывшей обо всех Магнолии.

Почему-то, когда я думаю о своей молодости, первая возникающая ассоциация – это праздничная яркость. Солнечные дни. Залитые весенним небесным отражением мелкие лужицы на полупрозрачном, плывущем от легких отблесков асфальте, солнечные зайчики, задорно отражающиеся от распахнутых настежь после долгой, тягучей зимы окон. Идешь по улице и шуришься, потому что глаза не могут справиться с такой интенсивной яркостью, и на душе тоже безотчетно воздушно, беспечно, празднично ярко.

Или пропитанный набухшим жаром, разгоряченный, сухой, крупитчатый воздух лета, когда кожей ощущаешь медленно оседающие тяжелые солнечные лучи. Если и случался дождь, то гроза, короткая, неистовая, когда природа сначала замирает как бы в предвкушении – ни колыхания, мертвая, застывшая неподвижность, – чтобы потом разразиться штормовым ливнем. Если и были тучи, то тяжелые, свинцовые, грозовые, переваливающиеся рваными, но все равно округлыми краями, многослойные, аккуратно нарезанные пластинами.

Теперь погода неузнаваемо изменилась, небо погрязло в единой непробиваемой серости, неразличимой, низкой, безграничной. Когда я приезжаю в Москву и, просыпаясь по утрам, бросаю первый заспанный взгляд за окно, я порой не могу разобрать – то ли день уже наступил, то ли над улицей висит еще пропитанный ночью, серый, едва зарождающийся рассвет. Серость опустилась на город, пробралась в каждую прореху, каждое оголенное пространство, нависла над домами своим рыхлым молочным телом. Ни весны, ни лета, даже

зима теперь другая, не похожая на снежные, морозные, кристально чистые зимы моей юности.

Впрочем, может быть, изменилась не столько погода, сколько мое восприятие большого и во многом уже чужого, суматошного города, жизни в нем? Но как отделить реальность от частного восприятия ее?

Тогда мне было девятнадцать, почти двадцать. Я учился на четвертом курсе института, только что закончилась зимняя сессия, студенческие каникулы манили своей беспечно длинной неделей, в которую, казалось, могла бы уместиться небольшая, но полноценная человеческая жизнь. Ведь юность и отличается именно уплотненной событийностью и нерасчетливым легкомыслием, когда за углом каждого дома тебя подстерегает неожиданность. Как там у Окуджавы:

*Из каждого окошка, где музыка слышна,
Такие мне надежды открывались...*

Отлично помню тот первый каникулярный день, помню в деталях, со всеми подробностями. Многое из прошлого, даже важное, даже определяющее, все равно застыло неброской стопкой поблекших, недвижимых фотографий. Но этот день запомнился во всех мельчайших деталях, мне не требуется, как говорится, ворошить память, достаточно лишь запустить заждавшийся киномоторчик воспоминаний – и потекут, польются, замелькают цветные кадры. И ты ошарашенно смотришь на себя со стороны и не можешь поверить, не можешь узнать, отождествить.

Я жил с родителями в трехкомнатной квартире на одиннадцатом этаже панельной «башенки» в тихом, едва приметном районе на окраине Москвы. Моя комната, кстати, изолированная, удаленная и от родительской спальни, и даже от гостиной, упиралась большим, широким окном прямо в небо. Ни соседних домов, ни размашистых ветвей деревьев – ничего не отделяло ее от неба. Разве что пара ястребов распластанно кружила, еще резче выделяя контрастом солнечную воздушную синеву.

Наверное, именно из-за нее, из-за утренней солнечной синевы, я и проснулся. Несколько минут лежал в постели, неторопливо скидывая с себя прилипшие остатки сна, следя за плавным скольжением птиц в небе. Будильник у изголовья застыл часовой стрелкой на цифре «девять», значит, родители уже давно ушли на работу, и я был полностью предоставлен самому себе.

Бросить тело с кровати, ощутить его слаженность, легкость – трусы и майка скомканно застыли на кресле возле письменного стола, – шестьдесят отжиманий, до боли в животе, до сводящих судорог... какое же это пленительное истязание – чувствовать каждую натруженную свою мышцу. И вправду, истинное совершенствование неотделимо от мазохизма. Затем еще несколько упражнений, таких же интенсивных, требующих напряжения всего сбитого в плотный, мускулистый комок тела. Тут же впрыгнуть в ванну, под холодящие струйки душа. Обтереться махровым полотенцем, снова оказаться в комнате, натянуть спортивный костюм, синий, из жесткой шерстяной ткани. Лыжи в коридоре, смазать их вязкой, пахнущей смолой мазью, пройти по глянцевой поверхности пробковой растилкой – минута-две, не больше.

Лифт, тяжело переваливаясь в глухой шахте, наконец оседает своим неспешным телом, железные створки дверей, как бы колеблясь, неуверенно вздрагивают, но все же открывают небольшой, зажатый стенками тусклый, похожий на одиночную камеру куб кабины.

После сумрака подъезда яркость зимнего утра кажется нестерпимой, снег искрится алмазной крупой, переливается, брызжет обжигающими блестками. Приходится на секунду

прикрыть глаза, зажмуриться от раскаленной на солнце ослепительной белизны. Дело нескольких секунд прикрепить лыжи к широконосым, клоунским ботинкам, подхватить легкие палки и, уже на ходу просовывая перчатки в ремешки, понестись, отталкиваясь, по плотному, утрамбованному насту.

До леса метров пятьдесят, не больше, мы живем у самого его края, почти на опушке; потому мои родители и предпочли этот тихий, напоминающий дачный район суетливому, перенасыщенному московскому центру. Именно из-за леса – огромного, почти дремучего, легко перекидывающегося через МКАД, затем через Ярославское шоссе и уводящего на многие десятки, если не сотни километров. Единственный девственный лес в Москве, ее последнее, еще не отравленное легкое.

Утром буднего дня в лесу никого, лишь тепло одетые в тяжелые, подбитые ватином пальто молодые мамы толкают перед собой детские коляски с закутанными по самые глаза младенцами да две-три пожилые пары, держась под руки, неспешно, размеренно прогуливаются по дорожкам. Их-то я и распугиваю звуком стремительно летящих лыж, резкими толчками палок, шумным дыханием – тремя короткими, быстрыми, один за другим вдохами, пока грудь не наполнится до отказа морозным, свежайшим, распирающим до предела воздухом, а затем, с новым толчком пружинистых ног, – одиночным длинным, протяжным выдохом.

Сначала оглядываются старушки, первый их порыв – отпрянуть в сторону, но, ощутив под рукой надежный локоть спутника, они лишь замедляют шаг и провожают взглядом проносящуюся мимо лыжную фигуру. Впрочем, дорожки скоро заканчиваются, лесопарк переходит в плотный лес, я сворачиваю на знакомую просеку и теперь уже разгоняюсь по-настоящему.

На лыжах можно ходить, а можно бежать. Я бегу. Хотя мне кажется, что лечу. Скорость, раздуваемый ею ветер навстречу, покалывание легкого морозца на разгоряченных щеках, упругость снежного наста, легкость шага, скольжение невесомых, не чувствующих трения лыж – все сошлось воедино и подчинилось гармонии. Мне кажется, что мое сильное, гибкое тело может все, для него нет ограничений, нет предела. А тому, что еще не умеет, оно запросто может научиться.

Что за чудесная, восхитительная самоуверенность! Но ведь она подтверждается каждый день, каждый час, минуту, мгновение. И никто и ничто не властно над ним – над твоим юным, богоподобным телом, – ни время, ни болезни, ни утраты. Да потому что их нет, ни болезней, ни утрат, как нет и времени. А есть только этот легко разрезаемый воздух, только мелькающие непрерывной чередой заснеженные лапы елок, чернеющие на девственно-снежном полотне стволы деревьев, да еще, если поднять голову, переполненное прозрачным светом и голубизной небо с чуть подмерзшим, сжатым, сбившимся в более плотный шар, зимнем солнцем.

В какой-то момент исчезают и стволы деревьев, и лапы елок, остается только движение, резкое, порывистое. Все мышцы, все органы чувств, всё сконцентрировалось только на одном – я живу движением, вдыхаю его холодящие воздушные потоки, впитываю белизну покрываемого им пространства, сам становлюсь разросшимся, вышедшим за пределы тела движением. Я больше ничто – не плоть, не мысль, не чувства, не усталость, а только один слитый воедино, стремительно рвущийся полет.

Я прихожу в себя, только когда просека чуть расширяется и сходится с другой, еще более широкой, просекой – этакий лесной перекресток, вернее, небольшая лесная площадь. Я снова начинаю сознавать красоту заснеженного леса, ко мне возвращаются обоняние, осязание, слух. Здесь, на открытом пространстве, зима чувствуется иначе, раскаленный от яркости неба снег влажнее, он не рассыпчатый, а тугой, плотный, податливый. Я останавливаюсь, снимаю с левой руки перчатку, лыжная палка безвольно повисает, моя ладонь слегка теплела, снег в ней послушно слипается в твердый, упругий комок. Холодящая контраст-

ная свежесть растекается, заполняет тело, сталкивается с его кровавым толчковым биением, смешивается в нем, растворяется. Я присаживаюсь на маленький столбик в центре просеки, на каждой его грани жирной масляной краской выведены цифры – видимо, какие-то картографические обозначения. Лыжи широко расставлены, палки раскинуты в стороны, лицо открыто солнцу; оно ярче летнего, это зимнее солнце, и в его лучах преждевременный, совсем еще не календарный запах весны. Здесь, в январском лесу, на безлюдной, одинокой просеке – запах весны. Чудо!

Я сижу минут десять-пятнадцать. Это мои лучшие минуты. Я ни о чем не думаю, ничто не обременяет ни мое сознание, ни тело. Как там у Пушкина:

*На свете счастья нет,
Но есть покой и воля...*

Я именно так и чувствую. Покой и воля! Иными словами, непричастность. Ни к кому, ни к чему. Только непричастность делает тебя истинно счастливым, потому что она беспричинна и не зависит от внешнего окружения. Внутреннее освобождение, естественное счастье. Оно не может длиться долго, хотя бы потому, что полная непричастность вещь невозможная, и если достижима, то лишь на кратчайшее, редко выпадающее мгновение. Мир заставляет нас быть причастными, хотим мы того или нет, и тем самым безжалостно лишает нас счастья.

Вот и сейчас на зажатой с двух сторон лесом белоснежной просеке показался силуэт. Лыжный силуэт, женский. Невысокая слаженная фигурка, запакованная в тесный, белый, фирменный лыжный костюм. По тем временам с трудом доступная импортная одежда если и не определяла своего обладателя (в данном случае обладательницу), то, во всяком случае, привлекала к нему (в данном случае к ней) внимание.

Женщина шла широким, хорошо поставленным, правильным шагом, не торопясь, не сбиваясь на суетные лишние движения. В ней вообще все было правильно – и белый, обтягивающий костюм, и фигура, небольшая, сбита, и черные густые волосы в коротко стриженном «каре», и загорелая, гладкая кожа на чуть широком, с яблочными щечками лице. Темные, модные, тоже импортные очки скрывали наверняка, я загадал... карие глаза... нет, черные как уголь. Черные подошли бы ей больше.

Я так и продолжал сидеть на столбике, не двигаясь, лыжня проходила метрах в трех от меня, совсем близко.

В принципе я фаталист, уже тогда был фаталистом: верил, что все не случайно, тем более когда происходят события маловероятные. Вот как сейчас: утром буднего дня в глубине безлюдного леса, на совершенно пустынной просеке первый попавшийся мне навстречу человек – молодая симпатичная женщина.

Она уже поравнялась со мной, я успел рассмотреть стройные, крепкие ноги в обтягивающих спортивных брюках, аппетитная, беззастенчиво выставленная напоказ попа привлекла объемной округлостью. Жаль, что грудь потерялась в свободном покрое надутой смятым пузырьком куртке. Впрочем, в мои неполные двадцать я легко мог представить, как там все устроено, под ее спортивной оболочкой.

Я был уверен, что она заговорит со мной. Одиночество сближает людей, а здесь, среди бесчисленных, обступающих нас на километры деревянных стволов – хвойных, лиственных, березовых, осиных, кленовых, да какие только не обступали, – среди глубокой, безмятежной снежной целины мы были предельно одиноки. Всего двое однотипных, двуногих существ, помещенных внутрь беспредельной лесной отчужденности. Мы не могли не почувствовать притяжение. Я, например, чувствовал его очень остро.

Я не ошибся. Поравнявшись со мной, женщина притормозила, лыжи по инерции пронесли ее чуть вперед, прежде чем остановиться окончательно, ей пришлось обернуться, развернуть плечи, чтобы наши взгляды встретились. Мой нарочито прямой, открытый, как синева над нами. и ее, невидимый, секретно-агентурный, скрытый за импортными темными очками.

Мне надо было что-нибудь сказать, первая фраза обычно все определяет, ну если не все, то многое. Вот я и сказал то, что чувствовал:

– Правда ведь, одиночество сближает людей. Вот мы с вами сейчас так пустынно одиноки в лесу, и как бы мы ни балдели от этого, каждый по-своему, но все равно мы обречены...

Я специально оборвал себя на полуслове, незавершенность заманивает.

Она, конечно, не ожидала такой навороченной тирады и теперь наверняка прощупывала меня взглядом, мой простоватый, из ближайшего универмага костюм грубой синей шерсти, вытянутые, пузырящиеся на коленках штаны, до крайности потертый свитер с раскрытой до упора молнией на груди, белая майка светила из выреза почти прозрачной тонкостью.

Это был мой стиль: простая одежда, заношенная, потертая, уличная, которой явно не уделялось заботливого внимания, должна была контрастировать с беспризорной, артистичной копной вьющихся волос, выразительными чертами лица, с манерой речи – с тем, как я говорил, как строил фразы, когда их строил¹. Не только контрастировала, скорее противоречила. И тем самым выделяла и должна была по замыслу вызывать заинтересованность.

Безусловно, стиль этот был умышленный, продуманный. Но и не только. Он еще был естественным, гармонично подходящим для меня.

То ли у Лермонтова, то ли у Толстого в «Казаках» я прочитал, что черкесы, самые лихие из них, носили бедную, залатанную одежду, демонстративно подчеркивая свое полное пренебрежение к ней. Но в то же время украшали себя дорогим оружием – саблей, кинжалом, пистолетом – или что там еще полагалось тогдашнему черкесу. И чем разительнее было несоответствие, тем больше уважения джигит вызывал у соплеменников.

Иными словами, объяснял я сам себе, черкес ты или нет, но любому уважающему себя мужчине следует выделяться не приобретенными достоинствами, типа шмоток и прочей «фирмы», а достоинствами врожденными. Неплохо, например, если интеллектом, или фантазией, или, скажем, остроумием, или чем-то другим подобным.

Именно таким же лихим, хоть и не черкесом, ощущал себя я, пусть и не было у меня острого клинка в серебряных ножнах с эфесом, усыпанным драгоценными камнями. Но, как и лермонтовские герои, я вызывал противоречие, а значит, интерес. Не у всех, конечно. Но и меня не все интересовали. Уже тогда я научился определять женские типажи и знал, с кем и когда у меня практически нет шансов, так что можно не утруждаться. Но вот лыжница передо мной как раз счастливо принадлежала к типуажу правильному, подходящему, а значит, попытка могла оказаться успешной.

– Обречены? – наконец отозвалась она. – На что обречены?

Я не спеша подтянул к себе лыжные палки, воткнул их в глубокий снег, уперся подмышками, повесил на них свое сразу обмякшее, нарочито расслабленное тело. Я знал, что выгляжу нагло, вызывающе, но я именно так и хотел – нагло. Конечно, я рисковал, но какое-то внутреннее чувство подсказывало мне, что риск оправдан.

– На знакомство обречены, – сказал я и после паузы добавил: – Вы чувствуете себя обреченной на знакомство? – И, так как она не ответила, продолжил: – Я знал, что вы здесь остановитесь, у вас просто не было иного выхода. Это было предопределено. Я и сам пред-

¹ Наверное, здесь я должен извиниться за очевидный элемент юношеского самолюбования. Но я ведь стараюсь быть предельно искренним в своем описании – а именно так я себя и ощущал в то время.

определен. Вот, может быть, и не собирался с вами знакомиться, но похоже, мне ничего другого не остается. Я обязан. Понимаете, судьба. Фатум, иными словами, неизбежность...

Все же, наверное, я переборщил. Она выглядела старше меня, намного старше, лет на пять-шесть, и моя наглость могла показаться мальчишеской, глупой, наивной. Но ни глупым, ни наивным я себя тогда не чувствовал. Повторю, мне было девятнадцать, и самоуверенность просто распирала меня, просто била наотмашь во все стороны.

Небольшая, вполне изящная рука в белой, как костюм, перчатке поползла к лицу, висящая на ней палка повисла в воздухе, закачалась наподобие теряющего разбег маятника. Очки отделились, оголили глаза, оставив их незащищенными. Не защищенными от моего взгляда.

Ну вот я и ошибся. У нее оказались светлые глаза, почти прозрачные, из тех, которые умеют менять оттенок. Как я мог так непростительно ошибиться! Зато теперь, дополненное глазами, лицо приобрело законченную цельность, и получалось, что прозрачность добавила ему, как бы это сказать, двусмысленность, что ли. Может быть, даже легкий налет бесстыдства. Хотя нет, бесстыдство – неправильное слово. А вот ирония, во всяком случае, по отношению ко мне, к моим словесным потугам в них отчетливо просвечивала. Этаким легким налет циничности, будто она знала о жизни нечто, мне неведомое, и это дополнительное знание ее забавляло.

– Не хотите знакомиться? Странно. А получается у вас совсем неплохо. Я уже готова была согласиться. – Голос чуть с хрипотцой, как сейчас бы сказали, «секси» голос, губы, улыбаясь, даже не пытаются скрыть веселую, лучистую, разлетающуюся во все стороны иронию – я сразу почувствовал себя глупо. – Хотя вообще-то я дорогу хотела спросить. Похоже, заблудилась. Уже час, как катаюсь, забралась непонятно куда, как выбраться, не знаю, и ни души. Вы первый, кто мне попался.

Вот так возник повод для моей ответной, не менее лучистой иронии:

– Думаете, я попался?

Она оценила несложный каламбур, засмеялась искренне, громко.

– Вот это забавно. – Теперь она смотрела на меня с явным интересом. – Вы вообще, похоже, забавный.

Я лишь пожал плечами, мол, это вам решать, делать выводы, заключения. А мое дело – оказать попавшей в беду девушке посильную мужскую помощь.

– Так я же говорю, у вас нет выхода. Без меня вы окончательно заблудитесь, потеряетесь и замерзнете до нехорошей простуды. Но не бойтесь, я вас извлеку отсюда, выташу на поверхность цивилизации. Куда вас вывести?

– На Открытое шоссе, я оставила машину у самого входа в лес. Кажется, трамвайная остановка называется «Детский санаторий».

Я не хотел, но брови сами поползли вверх. В те застойные времена молодые женщины редко приезжали на собственных автомобилях на Открытое шоссе покататься на лыжах. Я поднялся со своего деревянного столбика, двинул прилипшие к клейкому снегу лыжи, они, прогибаясь и дрожа, подтащили меня к заплутавшей девушке совсем близко, почти вплотную.

– Ну что же, двинемся. Кстати, как вас окликать, если вы снова надумаете потеряться?

– По имени окликайте.

Я развел руками.

– Я понимаю, что по имени. По какому?

Усмешка снова тронула ее губы, теперь я рассмотрел их, полные, словно припухшие. Даже посреди этого полностью блестящего дня – блестящего снега, солнца ее губы все равно выделялись особым, неестественным блеском. Наверное, такая помада, сметливо догадался я.

– Мила, – сказала она и протянула руку в белой перчатке.

Я долго стягивал свою, зубами перехватил прилипшую кожаную оболочку на указательном пальце, потянул за нее, потом на среднем, перчатка толчками сползала с ладони.

До чего же это было приятное касание. Я задержал узкую хрупкую ладошку в руке, мой взгляд просто впечатался в ее лицо – в пухлые губы, подернутые легкой усмешкой, в бесцветные, почти прозрачные, пропускающие сквозь себя глаза, совершенно нереальные, будто смотришь «sci-fi» фильм про инопланетных пришельцев. И все это в целом – глаза, губы, яблочки приподнятых скул, холодность ее перчатки в моей живой, разгоряченной ладони – наложилось на бесконечную пустоту и безжизненность леса, на его безмолвность, на уходящую вдаль просеку.

На мгновение я представил нас двоих со стороны, со мной такое бывает, будто второе, призрачное, «я» отделяется, отступает в сторону и наблюдает за первым, телесным, «я» – две одинокие фигуры почти столкнулись, почти придвинулись вплотную, лыжи переплелись, наехали одни на другие, а они стоят и вглядываются, прощупывают друг друга глазами. А вокруг беспредельная сиротливость, будто мир закончился, оборвался, лишь на свете остались только эти двое. Сюр, зазеркалье. Именно в зазеркалье я себя и ощутил. Впрочем, лишь на несколько секунд.

А потом раздвоенность исчезла, оба мои «я» сошлись в одно, и так, объединившись, вернулись в свое нагло-нахрапистое состояние, и, не отпуская ее ни рукой, ни глазами (чему она, впрочем, нисколько не противилась), я добавил:

– А я прилежно откликаюсь на имя Толя. Если вам что-либо потребуется, оглянитесь и начните фразу со слова «Толя», так я пойму, что это вы ко мне обращаетесь.

– Почему надо будет оглядываться? – улыбка больше не сходила с ее губ.

– Потому что вы пойдете впереди, а я попытаюсь от вас не отставать. И оттуда, сзади буду вас направлять. Если крикну влево, то это означает влево, а если крикну.

– Ну да, ну да, – перебила она меня. – Понимаю.

Я кивнул и только теперь отпустил ее руку.

Почему я решил ехать сзади? Если бы я ехал первым, я бы не видел, как перетянутая спортивными брюками оттопыренная попка шевелилась и перекачивалась половинками, будто они на пару исполняли какой-то свой, давно заученный туземный танец, где основная хореографическая идея заключалась в противофазе. Нет, не правильно, не основная идея – всего лишь одна из идей. Вот где анимация, вот где герои еще не слепленных мультфильмов – будто два оживших существа выделывают замысловатые кренделя, то сталкиваясь, то разъезжаясь, то подпрыгивая в каком-то им одним известном ритме.

Я катился, несильно отталкиваясь палками, чтобы подстроиться под шаг Милы – легкий, но все же не такой широкий, как мой, и пытался подобрать подходящий музыкальный такт к замысловато перемещающимся половинкам. Наконец остановился на латиноамериканской румбе, если я правильно помнил ее румбовский мотивчик. Так продолжалось минут десять, я мурлыкал зажигательную мелодию себе под нос, а два мультяшных существа впереди, подстраиваясь под мой латинский ритм, казалось, получали не меньшее удовольствие от своего танца, чем я.

Вскоре до меня дошло, что двигаться гуськом в полном, придурковатом молчании как-то неправильно, женщина ведь, как известно, впитывает мужчину ушами. Пришлось оторваться от аппетитного, соблазнительного зрелища, соскочить с лыжни, чуть подбавить газку и, плавно вырулив на нетронутый снег, поравняться с сосредоточенно отталкивающейся палками Милой. Которая, если бы не черные густые волосы, легко могла бы слиться с зимним пейзажем в своем маскировочном белом костюме. Увидев меня рядом, она обернулась вполоборота, опять растянула губы в доброжелательной улыбке. Надо было что-нибудь сказать, не катиться же рядом молча, как идиот. И я сказал, втискивая слова в сразу сбившееся дыхание:

– А вы вообще-то вот так не боитесь? Сначала заблудились в чужом, незнакомом лесу. Потом простодушно доверились мне. А я ведь тоже совершенно для вас чужой и незнакомый, как лес. – Тут мне пришлось выдержать паузу, чтобы заглотнуть новую порцию воздуха.

Мила ею воспользовалась:

– Намеряете, что можете представлять собой опасность?

– А почему бы и нет, – кивнул я. – Вы же не знаете, может, я маньяк какой агрессивный, может, у меня здесь берлога в самой чаще припрятана, и вам в ней придется теперь жить до старости, питаюсь орехами да желудями.

Она отреагировала с ходу, без задержки, без запинки, будто ответ был заготовлен заранее:

– А чего ж бояться, – и пожала плечами. – Я в берлоге еще никогда не жила. Как вы там, кстати, обогреваться собираетесь? Ну, пока лето не наступило. У вас там заготовки имеются? Дрова или керосин? Одним словоблудием ведь не согреешься, требуется что-нибудь понадежнее, попрacticalнее...

Какие там заготовки? Я даже ответ заготовить не успел.

– Только ведь нет у вас никакой берлоги. – Женские щеки и губки выразили сожаление, притворное, кокетливое. – Увы, увы, – подытожила она.

И вот эти два слитных «увы» как-то так прозвучали, даже не с сожалением, а скорее подвели черту. Словно опять подразумевали какое-то знание, которым мне овладеть, как ни старайся, не дано.

От ее тона, подбитого высокомерием, будто она имеет право говорить со мной вот так, свысока, я почему-то сразу ощутил вялую растерянность; так чувствует себя ребенок, заигравшийся с взрослым, который сначала разделил детскую игру, а затем, когда она наскучила, легко и беззастенчиво ее оборвал.

Мои потуги обворовать Милу мне самому сейчас показались жалкими, плоскими, прямолинейными, скудно и насильственно выжатыми. Я тут же почувствовал скованность, будто что-то плотное и прочное внутри меня надломилось, опало, поникло – задор, что ли, кураж, порыв, потребность удивить, ошеломить. А вместе с ними измельчился и притух еще и интерес к самой Миле, желание углубиться вместе с ней в только что зародившееся приключение. Я же говорю, скованность завладела мной, всем моим телом, даже лыжный шаг утратил легкость, в него тоже, как и во все мое подпиленное, покосившееся существо, вмешались усилие и натужная вымученность.

Минут через пятнадцать лес неожиданно резко оборвался, оголив подступившие к самому его краю дома – нелепые, пугающие темными прорезами многочисленных подъездов пятиэтажки, слишком ровные, словно обрубленные кубики девятиэтажек. Все они казались бесцветными, будто больными, перебинтованными толстыми жгутами темной краски на стыках блоков – начинающийся город даже сейчас, в этот хрустально солнечный день выглядел серым, запущенным и грязноватым на фоне природы.

Мы подкатили к неестественно чистеньким, видимо, недавно вымытым желтым «Жигулям», послушно уткнувшись тупым прямоугольным рылом в длинный, вытянутый вдоль тротуара сугроб. Мила легко соскочила с лыж, подняла их, открыла ключом машину, достала из бардачка тряпочку, быстрым, почти профессиональным движением стерла налипший снег с гладкой поверхности лыж. Не перчаткой стерла, а специально приготовленной тряпочкой, отметил я. Аккуратная девушка.

– Толь, давайте я вас до дома подвезу, – предложила она, вдевая в кругляшки палок загибающиеся концы лыж. И так у нее буднично получилось – и это простоватое «Толь», и невинная естественность интонации, что моя скованность сразу стала таять, словно на ее

заледеневший сгусток плеснули из ушата теплой водой. Впрочем, чтобы растопить полностью, ушата оказалось недостаточно – я только пожал плечами:

– Да тут и на лыжах недалеко.

– Не выдумывайте. Тоже мне занятие, по тротуарам шлепать, лыжи разбивать.

Она повернулась ко мне, двусмысленная, скрывающая потаенное дно улыбка казалась выжженной на лице, словно не сходила с него никогда. А вкупе со светлыми глазами, которые здесь, в перемешанной яркости снега и солнца, достигли полной бесцветной прозрачности, все ее лицо вдруг обрезало реальность, словно вышло за ее пределы. Во всяком случае, реальность московской окраины под названием Открытое шоссе.

– А потом, как еще мне вас отблагодарить? Вы же вызволили меня из беды. Я бы одна не выбралась, до сих пор блуждала бы в лесу. И даже никакой награды не потребовали.

И я согласился. То ли ее выпуклое кокетство подействовало, то ли все та же неопределенная двусмысленность улыбки, но я расстегнул крепления, тяжело переступил отвыкшими от пешеходной ходьбы ногами, нагнулся, поднял лыжи, стал сбивать с них налипший снег. Никакой специальной тряпочки у меня, конечно, заготовлено не было, поэтому в ход привычно пошла сначала кожа перчатки, а затем уже и руки. Похоже, Мила была права – я совершенно был не по заготовкам.

Снег на лыжах упирался, сбивался в плотные клейкие бугорки, не хотел отваливаться от некогда гладкой, скользкой поверхности. Вот у Милы он отслоился в мгновение, а мне воспротивился. Наверное, руки ее были более умелые либо тряпочка какая-то особенно удачная.

Хозяйка «Жигулей» забросила весь лыжный инвентарь на крышу автомобиля, на железный, прикрепленный к нему багажник. Я было бросился помогать, но не успел – все длинные, потерявшие гибкость палки уже были прикручены какой-то специальной резинкой с крючками, надежно и безопасно.

Потом я засовывал себя в машину, пристраивался на сиденье, тело, привыкшее к свободному, ничем не стесненному движению, противилось и не желало сгибаться, скрючиваться, вмещаться в тесное, сдавленное пространство. А вот Мила заскочила легко, снова рассекла лицо напополам черной полоской очков, завела замерзший автомобиль, подождала минуту, давая ему отогреться.

– В какую сторону едем? – Она посмотрела на меня. Теперь на лице осталась только улыбка да приподнятые яблочки скул. Как ни странно, мне не хватало прозрачности глаз, видимо, я уже стал привыкать к ней.

В принципе использовать автомобиль для транспортировки меня к дому была полностью надуманная идея. Прикручивать лыжи к багажнику, разогревать застоявшийся мотор заняло больше времени, чем утрамбовывать резиновыми шинами скрипучий снег на плохо очищенной мостовой. Мы протиснулись в узкие проезды между несколькими домами, обогнули школьное здание, библиотеку – центр местной культурной жизни – и уверенно тормознули у единственного подъезда единственной в округе двенадцатиэтажной башенки.

Как совсем недавно трудно было засовывать свое тело внутрь «жигуленка», так теперь неохота было его оттуда извлекать. Вот я и не спешил. К тому же передо мной стояла дилемма – либо поблагодарить милую Милу и распрощаться с ней, прихватив в качестве заложника семизначный номер ее телефона. Либо, невзирая на недавно скомканные и еще не полностью расправившиеся чувства, все же двинуть сегодняшнее приключение в непроторенное русло и пригласить двусмысленную девушку попить чайку в моей совершенно не подготовленной к женским визитам среднегабаритной квартире. Не подготовленной потому, что в ней поутру было не прибрано – ни постель, ни разбросанные по комнате вещи, ни кухня с остатками скорого родительского завтрака, с недопитым кофе в чашках на усыпанном крошками столе.

Кроме того, наше знакомство развивалось слишком уж стремительно, словно повторяя сюжет какого-нибудь не самого удачного мексиканского фильма – неожиданная встреча в романтическом лесу, загадочная девушка с выделяющейся попкой и не менее выделяющимся автомобилем. Она естественно подвозит случайного знакомого до дома, он приглашает ее подняться, а дальше, сами понимаете, объятия, незастланная постель, ну и все такое прочее – иными словами, шаблон, трафарет и вообще одно сплошное клише. А я свою жизнь по шаблону, тем более мексиканскому, строить не собирался.

Но, с другой стороны, я ведь говорил, что я фаталист. Даже тогда, в девятнадцать лет, я уже понимал, что все неслучайно, и если тебе подан знак, то прими его, расшифруй и следуй его указаниям. Потому что, повторю, ничего не случайно, и если упустишь, то все, что было задумано и предназначено, может легко перетереться в труху и никогда не произойти. И будешь потом гадать всю жизнь: а что было бы, если бы. И никогда не узнаешь.

Вот и сейчас, на плохой ли мексиканский кинофильм походила наша лесная встреча или на хороший итальянский – не мне судить. Потому как не кинофильм это был вовсе, а моя собственная жизнь, и глупо упускать шанс, который так щедро подкидывает балующая тебя озорница-судьба. И не становись ты расточительным транжирой – не пренебрегай ниспосланными тебе дарами.

А значит. Я взглянул на девушку на водительском сиденье и сказал:

– Как, Мил, насчет чашечки теплого чайку и розетки вишневого варенья. Совершенно изумительного, благоухающего, обещаю, словно в лето окупнетесь. В него моя мама вложила кусочек своей души.

– Варенье с ягодками? – поинтересовалась привередливая девушка.

– С ягодками, – закивал я. – С пьянящими вишневыми ягодками. А ягодки с косточками, так что, когда будете лакомиться, не торопитесь, чтобы косточку не проглотить.

Она помедлила, видимо, прикидывая все «за» и «против», и вытащила ключ из замка зажигания.

Мы вышли из машины, я открутил с крыши свои лыжи.

– Давайте ваши тоже наверх затащим. Здесь, знаете, народ без лишних предрассудков, запросто сопрут, ни рука не дрогнет, ни глаз не моргнет.

Мила ничего не сказала, лишь махнула рукой, мол, будь что будет, и первой направилась к дому.

В подъезде хоть и светила тусклая лампочка, что уже было удачей, но все равно нас окутал сырой, утробный мрак – хоть на ощупь по стенке пробирайся вдоль этой затхлой блочной действительности.

– Осторожно, здесь ступеньки, шесть штук, давайте считать вслух. – Я протянул руку, нащупал ее перчатку, сжал. При счете «пять» Милин голос подключился к моему. Кнопку вызова лифта я уже различал, глаза приспособились к пещерному мраку, а в лифте зрение вообще восстановилось полностью.

Тесная, зажатая стенками кабинка лифта свела нас, как не сводил ни салон автомобиля, ни тем более просека леса, я даже немного смутился от неподготовленной близости. Вроде бы настолько близко, что полагается что-то предпринять, какую-нибудь обреченную попытку, но вот так, второпях, впопыхах и в общей лифтовой загаженности ничего обреченного предпринимать не хотелось. И вот, чтобы сгладить осаждающуюся в пустом воздухе неловкость, я сказал:

– Видимо, лифтовый проектировщик был крайне экономным человеком.

Мила кивнула, добавила:

– Или большим романтиком.

Я тут же уцепился за мысль, стал ее развивать:

– Точно, сближал людей. Бросал их в объятия. Даже если и захочешь, уже не вырвешься. Вот если бы мы с вами минут пять так поехали, представляете, какое между нами возникло бы взаимопонимание.

Тут мы как раз приземлились на моем одиннадцатом этаже.

– Ну вот, как всегда, времени для взаимопонимания и не хватило, – с деланным сожалением вздохнула девушка. В тусклом свете кабины ее лыжный костюм уже не казался таким белоснежным.

Беспорядок в квартире оказался куда более злостным, чем я предполагал. Будто, пока я отсутствовал, одежда сама повылезала из шкафов, книги попрыгали с книжных полок, и вместе с носками и нижним бельем все они безнаказанно пытались расползтись по пустынной, одичалой квартире. За этим занятием мы с Милой их и застали.

Пришлось разводить руками, извиняться:

– Беспорядок. Вы уж, Мил, не взыщите.

Всегда лучше в своих промахах признаваться самому, откровенно и вслух.

– Зачем вы так негативно? Не беспорядок, а колорит, – поправила меня девушка, присев на специальный коридорный стульчик и развязывая ботинки. Под ними оказались по-девичьи беленькие, по-девичьи аккуратные носочки. Носочки меня почему-то умилили, в них она смело, не попросив даже тапочек, потопала по не самому стерильному, уже как несколько дней не мытому полу.

– В любом случае на варенье с ягодками ни беспорядок, ни колорит не повлияют, – заверил я позитивную девушку.

Мы прошли на кухню. Я быстренько смахнул следы родительского завтрака в раковину – чашки с засохшей кофейной пенкой на стенках, тарелки с недоеденными, подсохшими отгрызками бутербродов, скользнул влажной губкой по столу, сметая крошки в подставленную ладонь. Налил чайник, поставил на плиту. Мила сидела на спартанской кухонной табуретке, прислонившись спиной к стенке, с интересом наблюдая, как я хлопочу, проводя каждое мое движение своими бесцветными, безразличными глазами, которые сейчас раскрылись еще шире, завораживая, даже пугая своей потусторонней инопланетностью. Невнятная, плохо читаемая улыбка так и не сползала с ее полных губ, будто один раз, когда-то давно забравшись на них, впечаталась, вжилась, стала их частью, и губы, даже если бы пожелали, уже не в силах были бы избавиться от нее.

В целом, я чувствовал себя совершенно не в своей тарелке. В таком смятении пребываешь, когда нахрапом, в едином опрометчивом порыве, карабкаясь, цепляясь, взобрался на скалистую, почти отвесную кручу, а потом стоишь и не знаешь, как с нее слезать. Ни уверенности, ни разумного плана, одна тупая растерянность. Смотришь вниз и не понимаешь, а для чего, спрашивается, карабкался.

Именно так я чувствовал себя сейчас. Во-первых, в спокойном, неподвижном свете кухни стало совершенно очевидно, что она старше меня. Существенно старше. А еще опытнее, возможно, умнее, и то, что мне кажется приключением, успехом, победой, – для нее рутина, обыденность, возможно, даже привычка. Я вдруг осознал, что все, что я сегодня совершил, – спонтанно, как мне казалось, дерзко, на душевном подъеме, она предвидела заранее, а значит, это я, сам о том не подозревая, шел по заведомо просчитанному ею маршруту.

Иными словами, я перестал быть охотником, а превратился в добычу. Не исключено, конечно, что добывают меня для моей же пользы, возможно даже, что, добыв, она ухитрится сделать меня на какое-то время счастливым. Но я ведь родился охотником и уже привык быть охотником, вросся в свое природное предназначение и иным себя не мыслил. А зна-

чит, добыча из меня выходила во всех отношениях никудышная, вялая, ненадтренированная, неуверенная, заведомо неудовлетворенная.

К тому же мой синий шерстяной спортивный костюм – допотопный, потертый, с вытянутыми коленками, который еще недавно отлично сочетался с лесом, с бесконечной снежной гладью, с накатанной легкой лыжной, здесь, в камерном спокойствии маленькой кухни, отягощал, рождал ненужные вопросы, в общем, не шел мне в зачет. Надо было что-то менять в этой кухонной расстановке сил, круто менять, радикально. И я нашел выход.

– Слушайте, Мил, хотите душ принять? Я вам полотенчко выделю. Совершенно чистое, просто девственное. Торжественно клянусь, ни разу не пользованное.

Она ничего не ответила, так и продолжала сидеть, прислонившись спиной к стене, только отрицательно покачала головой.

– Тогда, может, я быстренько в ванную запрыгну? Всего на две-три минуты, пока чайник не закипел, вы и не успеете соскучиться.

– Конечно, – только и ответила она. – Можете даже на пять минут.

– Вы точно не обидитесь? Не убежите, не скроетесь? – потребовал я подтверждения.

Она лишь махнула рукой.

– Не волнуйтесь, я верная, я дождусь.

«Верная – это хорошо», – подумал я и скрылся в ванной комнате.

Ах, какое это наслаждение – когда расчлененный на бесчисленные тонкие, упругие струйки поток рассыпается по твоему вспотевшему, пульсирующему кровяными мембранами, напряженному от полтора часов движения телу. Это в лесу среди морозных снегов казалось, что ты разгорячен, что исходишь жаром, окутан его защитным облаком, но здесь, в ванне, под убажывающей теплотой оказывается, что все же насквозь промерз, просто перевозбужденная кожа не чувствовала медленно подкрадывающегося охлаждения. Теперь же она, впитывая живительные струи, влажный, белесый пар, наполнивший воздух, открылась доверчивыми порами и с жадностью ловила каждую каплю.

То ли от перепада температур, то ли состояния – в лесу собранного, напряженного, предельно сфокусированного, а здесь, в ванне, расслабленного, как бы опущенного в размягчающий раствор из теплоты, влаги и пара, – тело, все его рецепторы обострились, стали до боли чувствительны, остро реагируя на прикосновение невинных водяных струй. Даже внутренние органы, легкие, например, казалось, разжались, раскрылись, увеличились в объеме. А ведь, подумал я, вся тяжесть физических нагрузок – сбившееся дыхание, зудящие мышцы, учащенное, рвущееся за пределы сердцебиение, порой мучительное преодоление себя, – все искупается этим, казалось бы, невинным, легкодоступным, но божественным наслаждением.

Я обманул доверчивую девушку Милу. Не две-три, даже не пять минут я услаждал свою размякшую плоть, а все пятнадцать, наверное. Я бы еще дольше растянул удовольствие, но чувство долга, прежде всего перед брошенной на кухне девушкой да перед наверняка перекипевшим чайником, заставило меня закрутить скользкие керамические ручки кранов.

Только ступив на прохладный кафельный пол, я сообразил, что забыл прихватить с собой свежую одежду. Видимо, впопыхах, а может быть, это Мила своей запекшейся улыбкой выбила меня из колеи. Надевать же на обновленное тело пропотевший, холодный лыжный костюм было неверно. И для меня неверно, и для заждавшейся Милы. Ну и я ничего не надел. Просто обернул бедра длинным, широким полотенцем и вынырнул из жаркой ванной в прохладу квартиры.

Хотя предстать перед Милиным бесцветным взором полуобнаженным я не планировал, это, повторяю, получилось ненамеренно, я был совершенно невозмутим. Должен признаться – в счастливые беспечные времена моей юности я любил свое тело. Искренне, пре-

данно и без сомнения взаимно. Подтверждая взаимность, тело послушно откликалось на любой мой каприз и с энтузиазмом выполняло все, чего бы я ни пожелал².

Мила так и сидела на табурете, прислонившись к стенке, но на столе уже стоял завтракный чайничек, пара розеток, наполненных маминым вишневым вареньем, чашки, ломтики белого хлеба на тарелке, масленка – в общем, Мила посамовольничала, похозяйничала, и вполне, надо заметить, уместно. Завидев приближающийся к ней обнаженный торс (мой торс), она ни своим прозрачным взглядом, ни завязшей в губах улыбкой не выразила ни малейшего удивления, напротив, с живейшим интересом стала меня разглядывать. А когда я подошел вплотную, можно сказать, завис над ней, касаясь полой полотенца ее расставленных коленок, лишь подняла на меня глаза и вопросительно наморщила лобик – лицо ее теперь выражало любопытство: мол, ну и что же дальше?

И опять она смутила меня улыбкой, взглядом, вопросительно наморщенным лобиком, наполовину выступающим из-под подстриженной челки. Невозмутимостью, одним словом. Я, как и раньше в лесу, почувствовал себя заведомо просчитанным, переигранным в этой нехитрой игре, которая тут же лишилась интриги, а значит, и азарта.

Почему-то я был уверен, что, если медленно, упершись ладонями в стенку, так, что ее лицо окажется в плену ограниченного руками пространства, я начну склоняться к ней, приближаясь к ее манящим потусторонним глазам, ставшим сейчас просто блюдцами, озерами, небесной, воздушной начинкой, она не оттолкнет меня, не уклонится. Но именно из-за этой уверенности я не приблизился, не склонился. Какое-то внутреннее чувство нашептывало мне, что прямолинейная атака приведет к поражению, возможно, не сиюминутному, не сегодняшнему, но наверняка в результате неизбежному. Каким-то шестым, плохо еще развитым эмбрионным чувством я все же ухитрился догадаться, что форсировать не следует – не тот случай, не та женщина, – пусть события развиваются сами, и не надо пытаться ни направлять их, ни загонять в прорытое впопыхах русло.

Вот так напряженность момента разом спала, и снова вернулась неловкость. Ведь правда глупо получилось – непонятно зачем, непонятно по какому поводу полуголый парень в совсем не подходящей для эксгибиционизма кухне склоняется к внимательно разглядывающей его, совершенно невозмутимой женщине. Наглухо при этом затянутой в непроницаемый лыжный костюм.

– Пойду-ка я оденусь, – произнес я по возможности беспечно, стараясь хоть как-то скрыть смущение. – А то диссонанс какой-то, вы вон на все пуговицы застегнуты.

– Ах, вот в чем причина. – Она хотела сказать что-то еще, но я уже покинул чайное помещение и направился в комнату обмундироваться – рубашка, носки, брюки, все как полагается.

Потом мы пили чай. Вообще-то я еще не завтракал, но готовить омлет, суетиться у плиты, строить из себя закаленного холостяка не хотелось. И я просто намазал хлеб маслом, а сверху осторожно с чайной ложечки полил его вареньем.

– Смотрите, Мил, красота какая. Смотрите, каким непредсказуемым узором варенье растекается по белому хлебу. А цвет: видите, как темно-синее с легким оттенком бордо смачно собралось в нефтяные озерца вокруг выплывающих масляных, слегка желтоватых островков. Чувствуете, как пьянит эта художественная абстракция, будто застыла трехмерным объемом на холсте? Как дурманит ее аромат, напоминая о плодородном вишневом лете. Мил, вы чувствуете то, что чувствую я? Вы должны чувствовать, Мила. – Она промолчала,

² Со временем, как это обычно случается, наша взаимная любовь, увы, несколько поухлила – тело более не вызывает у меня прежнего восторга и, видимо, в отместку не балует как прежде, в девятнадцать лет.

и я добавил, теперь уже сухо, резко оборвав эмоциональный подъем: – И вот сейчас я всю эту лепоту и нетленку порушу, примитивно запихнув в рот.

Она переводила взгляд с меня на бутерброд, с бутерброда на меня, и непонятно было, что развлекало ее больше. Я ожидал хоть какой-то реакции на мою вдохновенную тираду, но она молчала, лишь улыбалась. Мне ничего не оставалось, как неторопливо, со вкусом, покачивая от наслаждения головой, засунуть натюрморт в рот, откусить, прожевать, в общем, осквернить девственное, незапятнанное искусство. Пока я жевал, Мила разглядывала меня своим беззастенчивым, водяным взором, будто я какое-нибудь диковинное, новозеландское животное, которое дотошный натуралист застал за кормежкой.

– Вы все же невероятно забавный, – пришла она наконец к натуралистическому заключению. Не уверен, что к самому для меня лестному. Могла бы сказать: «чудесный», «замечательный», «остроумный» хотя бы. А «забавный» звучало как-то двусмысленно, с подтекстом. Но я проглотил ее замечание вместе с бутербродом, не поперхнулся.

– Вы, Мил, даже не представляете, какой забавный, – согласился я и снова вернулся к теме варенья. – Давайте, я смастерю новое искусство, но теперь уже только для вас. Можете его домой с собой прихватить, на стенку повесить, а можете взять пример с меня и порушить прямо здесь.

Так и не сводя с меня своего текучего взгляда, она кивнула, и я стал старательно намазывать хлеб твердым застывшим маслом. Ведь еда – это радость, а радостью хочется делиться с ближним. В данном случае с ближней.

– Вы, я смотрю, эпикуреец, – заметила Мила. – То в душе полчаса плещетесь, то едой наслаждаетесь до полного самозабвения.

Стыдно признаваться, но о смысле слова «эпикуреец» пришлось догадываться по контексту – в свои девятнадцать я был, конечно, начитан, но не в полном, надлежащем объеме. Вообще книги тогда были в дефиците, да и к тому же придирчиво селекционировались вездесущим государством. Вот мы все и ходили недообразованные. Хотя все в разной степени, конечно.

Впрочем, пока недостатки твоего образования не обнаружены, считай, что их нет. Этот принцип даже на экзаменах срабатывал, а тут до экзамена дело пока не дошло. И непонятно было, дойдет ли вообще когда-нибудь.

– Неужели я в душе полчаса провел? – искренне удивился я. Мила кивнула, но ни в ее взгляде, ни в улыбке обиды не было, только любопытство. – Мерзавец, – осудил себя я.

– Но я компенсирую. Уже, надеюсь, компенсировал. – И я протянул ей тщательно составленный бутерброд. Она приняла его, белый в знойных вишневых узорах шедевр.

– Вы испачкались. – Она указала глазами. – Палец, указательный.

– Ага, спасибо, – поблагодарил я, слизывая вишневое пятнышко. – Указательный, – повторил я вслед за ней, – правда ведь, смешное название для пальца. – Я растопырил пятерню. – Он указывает, его и назвали указательным. А вот этот, большой. Хотя он даже и не самый большой, он самый толстый, но не самый большой. Кто их так обозвал?

– Наверняка народное творчество, – поделилась мыслью Мила, с удовольствием разрушая мое бутербродное произведение. – Чувствуется коллективная мудрость. Вот, например, средний палец. – Она тоже выставила свою ладошку, та была куда как меньше моей. – Еще одно меткое наблюдение. Тут ведь не поспоришь, он действительно средний.

Губы ее еще шире разошлись в улыбке, в голосе послышался смех. Она положила остатки бутерброда на тарелку, вязкая, темно-синяя капля тягуче, как бы нехотя сползла на белый фарфоровый глянец. Мне показалось, что абстракции в искусстве теперь даже прибавилось.

– А мизинец? Что означает мизинец? Вы знаете?

Она покачала головой.

– Наверное, у французов одолжили. Прямого функционального назначения у него ведь нет, вот у французов название и позаимствовали. – Она не сдержалась и прыснула.

– Действительно, что им делать, мизинцем? – согласился я. – Никакого практического применения.

– Могли бы назвать «крайним», – предложила Мила. – «Средний» же есть. Этот бы был «крайним»

– Или «маленьким». Раз есть «большой», то должен быть и «маленький». А то назвали непонятно как: «мизинец». Какой-то у нас нелогичный народ. Раз уже начал по величине и расположению, так и продолжал бы. А то сбился, засомневался, потерял ориентиры и сразу на французский перешел.

И вдруг ее прорвало, она аж затряслась от хохота, попыталась что-то сказать, но не смогла, лишь схватилась за последний, не исследованный еще нами палец. Тут до меня дошло, и я тоже зашелся. Попытался отпить чай, но дрожащий рот не держал жидкости, она брызгала, выливалась наружу. Совершенно не эстетично, но искренность и заразительность многое искупают.

Мы хохотали несколько минут, заражая смехом друг друга – такой вот коллективный хохот. Наконец я сумел выговорить по слогам, по буквам, да и то одно лишь слово:

– Не смогли.

Она закивала:

– Не придумали. Фантазии не хватило...

– И знаний французского, – добавил я, и мы снова покатались, едва удерживаясь на шатких кухонных табуретках.

– И они не постеснялись сознаться. – сквозь слезы ухитрилась вымолвить Мила.

– Ну да, – закивал я, – назвали «безымянным». – Мы снова легли от смеха. Я в прямом смысле, грудью на стол.

– Мол, мы старались, но ничего не получилось, не нашлось имени. Все перепробовали – и ничего не подошло.

– Как какой-нибудь холмик на географической карте. Нет, правда же стыдно, всего-то пять названий, и то схалтурили.

Я закивал.

– А что, может, объявить конкурс на лучшее название для безымянного пальца? А то неловко как-то. Да и перед пальцем неудобно. Все-таки единственная неназванная часть нашего тела. Для некоторых частей целая череда имен изобретена, а у этой ни одного.

Впрочем, последнюю мою ремарку Мила проигнорировала, либо умышленно, либо просто пропустила мимо ушей.

– А все оттого, что он бестолковый какой-то. – Она шевелила узкими, ухоженными пальчиками на своей ладошке, сгибая и выпрямляя, рассматривая каждый из них. – Он самый неловкий, ничего толком не умеет. Вот и не захотели с ним возиться, время на него терять.

– Так назвали бы тогда бесполезным или ущербным, что ли.

– Ой, нет, я придумала, подожди, подожди. – вот так в возбужденном творческом запале Мила перешла на естественное «ты». – Его знаешь, как надо назвать? Его надо назвать «следующий за «факом» палец». – И она снова покатила со смеху, а я вслед за ней. Потому что в отличие от слова «эпикурец» слово «фак» я все же знал. Хотя литература по нему на тот момент тоже была в дефиците.

Мы еще похулиганили, посмеялись, создали еще два бутербродных произведения, потом их слопали, каждый по одному. А потом настало время заканчивать приятное чаепитие. Не знаю, как насчет Милы, а вот мне точно. Куранты на Красной площади уже пробили полдень, а значит, несмотря на законные зимние каникулы, меня ждали дела.

– Слушай, – обратился я к девушке, которая недавно перешла со мной на «ты», – а ты куда едешь сейчас?

Похоже, вопрос застал ее врасплох, глаза сразу сузились и из озер превратились в заводи. Но на прямой вопрос надо было давать прямой ответ:

– А куда тебе надо?

– Да мне бы куда-нибудь в центр. А то пока здесь до метро доберешься. Эти трамваи зимой, похоже, впадают в спячку.

– Ну да, я понимаю. К тому же лес рядом, берлоги. Куда в центр?

– На Маяковку. Или куда-нибудь рядом. Все равно, безразлично. – Я пожал плечами.

– Поехали тогда. – Она вздохнула. Я вслед за ней. Конечно, лучше бы сидеть с приятной девушкой на кухне, кушать варенье. Сутки бы сидел, другие, третьи. До полной бестелесной бесконечности сидел бы. Но ведь говорю – дела.

Лыжи, как ни странно, спереть не успели, день-то еще ранний, будний, народу почти никого, вот и повезло. Я, конечно, поздравил Милу с такой удачей.

– Они тебе еще послужат, – подбодрил я девушку, которая привычно уселась на водителское сиденье.

– Лучше бы подумали, как палец назвать, чем таскать то, что им не принадлежит.

– Не умеют, – заметил я.

Мила кивнула. Я же говорю, мы с ней во многом соглашались. А значит, сходились все ближе, все теснее.

Медленно проехали между домами, плохо утрамбованный, рыхлый снег скрипел под резиновыми шинами, будто силился нас задержать. Но безуспешно, мы все же выкатили на самое главное Открытое шоссе. Мила вела автомобиль уверенно, без суетливости, движения выверены, на уровне рефлекса. Значит, водит давно и часто, сделал вывод я.

– Хорошо рулишь, – похвалил я. – Уверенно.

– Главное, чтобы пассажир чувствовал себя в безопасности.

Она оторвалась от дороги, сняла очки, бросила на меня быстрый скользкий, в смысле, ускользящий взгляд. Нет, под ее пристрельным взглядом я никак не чувствовал себя в безопасности. Хотелось съезжиться и вжаться поглубже в сиденье. Но я сдержался, не сжался, согласился:

– Так пассажир ведь доверился. Причем полностью.

– У меня подруга есть, – резко сменила тему Мила. – Ей папаша машину купил, и она решила разобраться, что это за рычажки отовсюду торчат и вообще отчего колеса крутятся. Попросила, чтобы я ей помогла, что-то типа вводной лекции прочитала. Короче, села она за руль в первый раз, потрогала его, потом переключатель скоростей, он ей сразу понравился. Потом начала нащупывать ногами педали. Я ей объясняю: «Правая – это газ. Чтобы машина ехала. Средняя – тормоз, чтобы машина останавливалась. А левая, говорю, сцеплением называется, но это сложно, это тебе сейчас ни к чему». – «Надо же, – отвечает мне подруга, – на кой они три педали сделали. Чтобы такую тачку водить, три ноги надо иметь. Нет уж, пусть лучше меня мужики возят». И вылезла из машины. Так больше никогда за руль и не садилась.

Мила снова скосила глаза, проверяя, искренне ли я смеюсь. Убедилась, что искренне.

А я смеялся и думал, что правильно сделал тогда, на кухне, когда склонялся над ней в одном едва прикрывающем полотенце. Правильно, что не вошел в контакт. Верно проинтуичил. Ведь только теперь я понял – что-то в ней, женственной, даже обворожительной, все же присутствовало мужское, слишком логичное, слишком ироничное, отстраненное, будто она все время со стороны за всем и всеми наблюдает и делает трезвые выводы. Чтобы потом все правильно рассчитать. Весьма, надо сказать, мужская черта.

Вот и историю про автомобильную свою подругу она рассказала так, как рассказал бы мужик. И посмеялась над женской природной своеобразностью, как мужик бы посмеялся. И за мной она точно так же наблюдает, и оценивает, и делает выводы. А когда придет время, если оно придет, и меня точно так же просчитает.

Вообще-то неплохо было бы поинтересоваться – кто она, чем занимается, откуда у нее, например, автомобиль, который она, похоже, не первый год водит. Ведь в принципе совсем молодая еще, хоть и постарше меня.

Мы уже подъезжали к метро «Преображенская площадь»: машин было мало, и хотя мы двигались не быстро по плохо очищенной скользкой дороге с блеклым, печально дистрофичным пейзажем по сторонам, но двигались почти без остановок. После метро, впрочем, и машин, и светофоров прибавилось, мы то и дело застывали в потоке.

– Мил, – сказал я, – вот мы уже часа три дружим, а я про тебя еще ничего не знаю. Ни кто ты, ни что ты. Да и ты про меня. А ведь истинное чувство товарищества возникает, когда ты о товарище многое знаешь, когда он с тобой потаенным делится. А я ничего потаенного о тебе не знаю. Давай обменяемся информацией, ты мне свою, я тебе свою.

Теперь я скосил на нее глаза. Вернее, не скосил, а просто повернул голову.

– Прямо сейчас? – уточнила она.

– А когда же?

Она немного подумала.

– Нет, так неинтересно. Что мы, ЭВМ, что ли, информацией обмениваться? Или базы данных?

– Нет, – согласился я, – совсем не базы.

– Давай лучше по-другому. – Она смотрела вперед, очки снова узкой черной повязкой перетягивали лицо. – Давай проявим интуицию и знание жизни.

– А если у меня его нет, знания? – попытался я пошутить, но, видно, неудачно, она даже не отреагировала.

– Давай ты расскажешь, какой ты меня представляешь. В соответствии с впечатлением, которое я на тебя произвожу. Я ведь произвожу на тебя впечатление? – Я, конечно, кивнул. – Вот и попытайся составить мой портрет, описать мою жизнь, мой характер, мои пристрастия, привычки. Например, чем я занимаюсь, где работаю, что люблю, чего не люблю. Такой полный психологический портрет. И не только психологический. А я буду тебе помогать.

– Точно будешь? – переспросил я.

Она кивнула.

– Только абсолютно честно, беспристрастно. Что чувствуешь, то и говори, не приукрашивай.

– Честно – это сложно, – засомневался я.

– Да не бойся, не бойся. – Она даже сняла руку с рычага переключения скоростей и поощрительно хлопнула меня по коленке. Чуть выше коленки.

Думал я недолго, в принципе интуичная игра мне понравилась, да и до Маяковки надо как-то время скоротать. Тут главное – не ляпнуть что-нибудь лишнее, хотя если и ляпнешь, тоже ничего страшного. И я согласился, но с оговоркой:

– Давай, только начнем с меня. В смысле, ты начнешь с меня, заодно и пример покажешь.

Она легко согласилась, на очередном светофоре сняла очки, опять скосила на меня глаза, теперь уже внимательные, даже какие-то безжалостно внимательные, так что мне вдруг захотелось приоткрыть дверь и вывалиться бочком в несвежую, подгаженную городом крупитчатую сугробную гряду, протянувшуюся вдоль мостовой.

– Итак, что мы можем сказать про молодого человека по имени Толя? – начала Мила, но в этот момент светофор переключился на зеленый, и я соскочил с прицела ее бесстрастных глаз совершенно невредимым. Пока невредимым.

– Ему лет двадцать. Наверняка студент, сейчас каникулы, вот и отдыхает. Хотя, если бы каникул не было, мог бы прогуливать.

Я кивнул, вообще-то я обычно не прогуливал, но наверняка мог бы. Машина катила не спеша, никого не обгоняя, но и никому не уступая дорогу, а Мила рассказывала обо мне, опять же отстраненно, в третьем лице, как будто я и не сидел тут, рядом, на соседнем сиденье.

– Паренек наш, Толик, бойкий, а значит, скорее всего не гуманитарий. Гуманитарии, тем более мальчики, не особенно уверены в себе. Но и технарем его назвать нельзя, слишком уж для среднестатистического технаря изъясняется образно. Для физтеха или физмата наш Толя не подходит, чересчур приземлен, чересчур пристрастился к приятным мелочам. Душ на полчаса, подозрительная любовь к собственному телу, натюрморт из хлеба с вареньем, да и лыжная прогулка поутру в лесу – нет, все это не для отвлеченных от жизни физиков и математиков. Я бы поместила Толика где-нибудь на стыке техники и естественных наук. Например, он мог бы быть подрастающим медиком, хотя что-то мне говорит, что не медик. Скорее биолог-генетик или занимается чем-то, связанным с информатикой, например, искусственным интеллектом.

Такое предположение мне понравилось, и я подал голос с пассажирского сиденья.

– Неплохо звучит, – одобрил я.

– Учится наш Толя неплохо, бойкий ум и образное мышление помогают. Но и отличником не является, подозреваю, что усидчивости не хватает, да и организованности.

Тут я пожал плечами, не признаваться же вслух, что она пока только десятки одну за другой вышибает. Просто снайпер психологический какой-то.

– Теперь о характере. В целом, общительный, экстраверт, но только когда ему самому общение требуется. Периодически испытывает потребность в одиночестве, так как длительное общение его утомляет. Об этом свидетельствует узкий овал лица, тонкие, но резкие черты. В одиночестве восстанавливает силы. Поэтому и в отношениях с женщинами непостоянен и к длительным связям не готов. Вот и скачет от одной привязанности к другой. При этом за тот короткий срок, что поддерживает отношения, поглощен ими полностью, страстно – чувственность проявляется и в интонационной манере, и в строении лица. В такие периоды становится ревнив, подозрителен, требует полного подчинения. И наоборот, когда интерес к женщине ослабевает, многое прощает, многого не замечает и не вникает в детали. Женщинам нравится, потому что такие энергетические, пылкие юноши вызывают интерес.

Я, конечно, полностью обалдел, слушая подробное описание себя. Пока я пижонил, пытался заморочить ей голову, навешать лапшу на уши, она, оказывается, препарировала меня холодными, как скальпель, глазами и наверняка таким же холодным острым умом, словно лягушку, по мельчайшим органам. А потом разложила по прозрачным пластиковым коробочкам и наклеила на каждую классификационный ярлычок. Я понял, что пора вмешаться в ее монолог. Прямо сейчас, немедленно, пока я не узнал о себе такие подробности, какие мне и знать не полагается.

– Ты меня просто психоанализу подвергаешь. Вот так с ходу, без предупреждения. Я даже подготовиться не успел, – сказал я, не совсем точно зная, что такое психоанализ. То есть общее представление я, конечно, имел, что там про «психо» и про «анализ», но только общее, без нюансов. – Даже зябко становится. Ты всегда так серьезно настроена?

Она двинула рычажок автомобильной печки вправо.

– Не зябни, согревайся, – посоветовала она и продолжила: – Мы же договорились по-честному. К тому же ничего плохого я еще не сказала.

– А скажешь? – полюбопытствовал я.

– Не волнуйся, скоро твоя очередь придет, сможешь отыграться.

– Тоже верно, – согласился я.

– Итак, про женщин понятно. Более сложный вопрос: есть ли в нашем Толе глубина или только одна блестящая поверхность? – Я снова пожал плечами, мол, действительно сложный вопрос, с ходу и не решить. – Поверхность, а вместе с ней и поверхностность, конечно, бросаются в глаза, что, впрочем, не означает, что глубина отсутствует. Порой нарочитая поверхностность становится защитной оболочкой, этаким скорлупой. В случае нашего Толика я еще не совсем разобралась, требуется больше времени на изучение.

Она повернула ко мне голову. Слава Богу, ее глаза были отгорожены от меня очками, а вот улыбка на спелых губках светилась многообещающая.

– А я думал, мы друзья. – заметил я с нарочитой обидой, хотя подумал совсем другое.

«Офигеть, – подумал я, – она еще во мне разбираться собирается. Не все еще отсекала и отсортировала. Небось лабораторный микроскоп в следующий раз притащит».

Видимо, обида в моем голосе, хоть и деланая, заставила ее смягчиться.

– Хотя я склоняюсь, – после паузы продолжила Мила, – что глубина все же присутствует и рано или поздно проявится. В Толе наблюдается некая нестандартность, выход за рамки. Например, он безусловно пижон, но пижонит не за счет одежды или достатка, как большинство, а за счет своих презентационных данных.

– Чем-чем? – не разобрался я с ходу про Толика.

– Тем, как подает себя, – пояснила беспощадная Мила. – А подает он себя, используя нестандартные речевые обороты, не без иронии, с очевидной логической структурой, которые порой не отличаются оригинальностью, а порой бывает, что и удачно. Иногда даже смешно.

– Вот за это спасибо, – искренне поблагодарил я.

– Иными словами, он пижон слова, мысли и духа, а это уже говорит об определенном потенциале. Ну, а уж использует он этот потенциал в будущем или нет, об этом судить рано. Впрочем, у нашего Толика времени еще впереди предостаточно.

– И за щедро отведенное время тоже спасибо, – снова попытался я размягчить Милину жесткую прямолинейность.

Наверное, она поняла намек, потому что снова сняла очки, снова наставила на меня свои глазки. Теперь к ним вернулась озерная полноводность, а недавней острой пронизательности заметно поубавилось.

– Ну что, еще? Или хватит?

– Пожалуй, хватит, – пожал я плечами. – Давай на позитиве остановимся. Хоть как-то. К тому же, – я огляделся, – мы уже Комсомольскую площадь проехали, и до Маяковки я могу и не успеть.

– Ладно, давай, теперь твоя очередь, – подбодрила меня Мила.

– Отлично, – протянул я, – сейчас я за все отыграюсь. – Выдержал паузу. Город за стеклами автомобиля суетился, беспорядочно брызгал хаотичной, не имеющей ни стройности, ни видимого смысла жизнью, даже снег потемнел и сам стал продуктом суеты, даже солнце светило не так ослепительно ярко, как еще совсем недавно в моем заповедном лесу. Да и вообще, как можно сравнивать спокойное, полное радости лесное утро и этот полный напряжения, тяжело пропотевший городской день. Впрочем, похоже, мне было пора в него погружаться. – Итак, милая моя Мила, – поверхностно, как мне и полагалось, скаламбурил я. – Про тебя и угадывать ничего не требуется. Ты сама обнажилась до наготы и полностью провалила все явки, пароли и малины.

– Так-так, – закивала она, не отрываясь от штурвала.

– Во-первых, ты, конечно же, связана с внутренними органами. Натаскана ими на живых людей. Потому что без специальной выучки такой дотошный разбор моей невзрач-

ной личности произвести было бы невозможно. Но ты не только кабинетный аналитик, но и полевой оперативник, и задача твоя вкатываться по утрам в окрестные леса и выискивать там материал для изощренной вивисекции.

Она уже зашлась хрипловатым своим смехом. Я-то думал, обрадовалась моему остроумию, но оказалось, что опять ошибся.

– Попал. Молодец. В самую точку. Конечно, я связана с внутренними органами. И натаскана ими же. Неужели так заметно?

Я задумался, потому что никуда попадать не стремился, просто балагурил. Но тут задумался: с какими же «органами» она связана? Ведь не с КГБ же в самом деле?

И вдруг до меня дошло, не сразу, с задержкой, но дошло.

– Итак, – продолжил я, почему-то инстинктивно переходя на дистанционное «вы», – работаете вы, Мила, в каком-нибудь халявном научном медицинском центре, катаетесь по утрам на лыжах по поводу какого-нибудь халявного библиотечного дня, пишете про внутренние органы какую-нибудь халявную диссертацию с помощью соблазненного вами какого-нибудь халявного руководителя.

Ее почти била истерика, мой голос с трудом пробивался через хрипловатый смех.

– Уже написала, – смогла все же выговорить она.

– Чего? – опять не сообразил с ходу я.

– Диссертацию уже написала, – пояснила она.

«Надо же, – удивился я про себя, – какой я меткий, однако. Просто «Ворошиловский стрелок».

– Значит, и машина легко объясняется, зарплата небось с кандидатской надбавкой. Ну, и родители, конечно, подмогли. Хотя нет, – перебил я сам себя, – машина не ваша, вы по доверенности ездите, она принадлежит тому самому научному руководителю, которого вы соблазнили.

Я решил просто не обращать внимания на ее хохот, слава Богу, мы снова встали у светофора и опасность лобового автомобильного столкновения не грозила.

– Можно, конечно, задаться вопросом: какая у вас специализация? Но не нужно. Ответ понятен. Вы с таким удовольствием препарируете, что либо на животных опыты ставите, либо на людях, как вот сейчас на мне.

– Что, не понравилось? – продолжая смеяться, с трудом выговорила она. Но я не ответил, я напал на след и теперь шел по нему, лишь изредка вбирая носом воздух.

– Если на людях, то сочетаете научную деятельность с практикой. Отсюда и ваша отстраненность, потому что врач должен абстрагироваться от чужих проблем, от болезней, от горя, чтобы они его самого не подмяли. Вы, Мила, – я нарочито фамильярно ткнул в нее указательным пальцем, – вы, Мила, скорее всего, хирург.

– Надо же, снова попал. – Она обернулась ко мне, пронзила глазами, но сейчас ее взгляд отскочил от меня, не причинив вреда. Да, мой следовательский успех возбуждал меня, я чувствовал себя сыщиком – каким-нибудь месье Пуаро или мисс Марпл из очередного конвейерного бумажного детектива.

– Итак, с работой, с автомобилем и научным руководителем мы разобрались. Что еще там осталось? – Я на мгновение задумался. – Личная жизнь?

– Ну да, личная жизнь осталась, – эхом отозвалась хирург Мила.

– С личной жизнью проблемы, – почему-то сказал я, хотя собирался сказать совершенно другое. Но, видимо, все-таки не смог удержаться, чтобы не поддеть ее в отместку. – Во-первых, диссертация и работа много времени занимают. А отношения, романтика, секс требуют полной отдачи, концентрации, времени и сил. Особенно для женщины, особенно секс. А у вас все на практические и научные исследования уходит. Во-вторых, вы, Милочка,

не замужем, иначе не оказались бы утром одна в незнакомом лесу. Да и у меня дома не оказались бы тоже.

Она лишь покачала головой, и я расслышал что-то типа «плохо же ты жизнь знаешь.», но не сбился и не прервал монолог.

– А главное, научный руководитель надоел уже. К тому же он и не нужен больше, раз диссер написан, да и вообще староват. И так, Мила, вы сейчас в свободном поиске. Хотя найти вам будет крайне непросто.

Ее смех сначала завис под низкой крышей «Жигулей», а потом и вовсе рассыпался и рухнул мелкими, тут же затухающими осколками. Похоже, мое выступление задело ее за живое. Если у нее вообще имелось это живое.

– Почему?

– Да потому что критерии у вас, Мила, завышенные. Планка приподнята высоко, не каждый дотянется, а опускаться ниже себя вы наверняка не собираетесь. Вы девушка интересная, даже выразительная, как выяснилось, успешная, мыслящая, сильная, наверняка целеустремленная, уверенная, вам как минимум ровня нужна. А где ее взять, ровню? Тяжело вам будет ее отыскать, к тому же выбор невелик. Вы же сами знаете, Мила, Москва – город женщин.

– Как у Феллини, – согласилась она.

Про Феллини я, конечно, был в курсе, даже ухитрился что-то посмотреть, совсем запретным он тогда не считался, выборочно его кое-где крутили. Хотя «Город женщин» до меня еще тогда не докатился. А вот до Милы, похоже, докатился.

– А главное. – Я даже на секунду засомневался: а надо ли так жестоко? Но в принципе мне было ее не жалко, скорее мне было все равно. – А главное, Мил, вы мужчин отпугиваете.

– Правда? Чем же? – спросила она, но не обернулась ко мне, как обычно, не отвела глаз от скучной дороги, полной озабоченных перевозочным трудом машин.

– Ну как же. Прежде всего, вы отстраненны. Вы рациональны, анализируете каждую ситуацию, каждого собеседника. Он для вас пациент на операционном столе. Вот как я сейчас. Не ваша вина, наверняка профессия такие качества развила. Слишком в ней много мужского. Вот и на вас перекинулось. Понимаете, что происходит. В чудесном, женственном, вызывающем восхищение обличье, – тут я не слишком лицемерил, хотя подсластить предстоящую пилюлю все-таки был обязан, – заключен аналитический, препарирующий, холодный ум. А может быть, кто знает, и сердце.

Она молчала, а я продолжил. Вообще-то я не жестокий, но сейчас во мне непонятно из каких глубин всплыл зудящий, требующий жертвоприношений садистский импульс. Я знал, что бью по живому, достаточно было на нее взглянуть, на напряженную, сжавшуюся у руля фигуру. Зачем я на нее накинулся? Для чего?

– А нам, мужчинам, нужна в женщине не логика, не умение изучать нас под микроскопом. Наоборот, нам приятно отсутствие логики. И не отстраненность нас привлекает, а причастность. Причастность, кстати, важнее всего. А когда нас анализируют и расставляют по полочкам, раскладывают по баночкам, нас это отторгает. Ведь мы вас не анализируем, а принимаем какие вы есть. Не всех, конечно, принимаем, но большинство. А главное, нам от вас ничего в принципе не нужно, кроме вас самих и все той же причастности.

Я замолчал, и так, похоже, переборщил. Понятно было, что теперь, после моего кавалерийского наскока, никакой будущей любви у нас уже получиться не может. Что было, безусловно, обидно. Но с другой стороны, и хрен с ним, подумал я, ну, не будет, значит, не будет.

Я вообще тогда не очень был подвержен сожалениям, меня переполнял здоровый оптимизм. И он был оправдан – время не поджимало, ни спереди, ни по бокам, оно было щедрым, обильным, его было в достатке, полным-полно, а главное, оно прощало ошибки и, так или иначе, награждало за поиск и попытку.

- И тебя я тоже отпугиваю? – спросила заметно удрученная докторша.
- Есть немного, – нехотя признался я.
- А я и не заметила, – удивилась она.
- Я стараюсь виду не показывать.

И вдруг мне стало ее жалко, к тому же мы уже катили вдоль бульваров, а значит, времени оставалось мало. Надо было как-то сгладить.

– Но с другой стороны, – начал я, – в компромиссы тоже не стоит втягиваться, а то сам не заметишь, как привыкнешь. Ты ведь как доктор должна знать, что юлить, подстраиваться, прогибаться, кривить душой бесполезно для здоровья. Так и себе недолго навредить. – Я помедлил, хотелось ее подбодрить, непонятно только, как именно. – Слушай, ты красивая, умная, успешная, веселая. – «Я уже это, кажется, говорил», – проскочило в голове. – ... на юмор хорошо реагируешь. А еще спортивная, на лыжах катаешься, я сам видел. Клевая ты, одним словом. Тебе знаешь сколько народу завидует. Скольким хотелось бы оказаться на твоём месте. Но у них не выйдет, потому что место уже занято. Тобой занято. – Вот так, на позитивной ноте и следовало закончить. Правильно я все сделал.

Но Милу мой оптимистический тон, похоже, не подбодрил.

– Ты, наверное, прав, – проговорила она медленно, разделяя каждое слово паузой, как бы в раздумье. Мы снова встали у светофора, на этот раз уже при въезде на улицу Горького³. Она обернулась ко мне, улыбка растаяла, без нее губы оказались неожиданно незащищенными, да еще глаза наполнились какой-то едва различимой, тоже прозрачной дымкой. – Знаешь, я ведь развелась совсем недавно, всего несколько месяцев назад.

Ба, подумал я, что за неожиданность! Нет, не развод, о нем как раз нетрудно было догадаться. Неожиданным было ее признание. Получалось, что незащищенность губ перешла на незащищенность души.

– Даже непонятно почему. Он вполне нормальный, все при нем, не дурак совсем, а вот не смогла. Что-то не срослось. Ты говоришь, критерии высокие, ожидания, говоришь, я сама во всем виновата.

– Ничего я такого не говорю, – начал оправдываться я. Но тут мы как раз подъехали к Маяковке. – Тормозни здесь, – попросил я.

Она подрулила к тротуару, машина замерла, затем слегка, едва заметно дернулась и встала окончательно. Снаружи мелькали люди, как-то чересчур суетливо, просто как кадры в немом кино, только не черно-белом, а цветном, видимо, солнышко всем добавило энергии. Они и не предполагали, как сказочно сейчас в дремучем пустынном лесу на самой окраине Открытого шоссе.

А вот внутри машины образовалась напряженка, не сильная, не особенно давящая, но все равно ощутимая. И получалось, что я не имею права вот так просто открыть дверь и выскочить из наэлектризованного салона. Надо было что-то еще добавить напоследок, что-нибудь нейтрализующее, успокаивающее, что позволило бы покинуть Милу со спокойной, незамутненной совестью. Я думал, соображал, но, видимо, слишком долго, и в результате опоздал.

– Вот тебе мой телефон, – раздался спасительный голос с хрипотцой.

Она достала маленькую, изящную записную книжечку в кожаном переплете, вырвала листочек, что-то черкнула в нем не менее изящной ручкой, я успел разглядеть, не шариковой, а перьевой. Передала листок мне, я мельком заглянул: «Мила Гессина», ниже номер телефона начинался на 135, значит, где-то в районе Ленинского.

- А я уж и не рассчитывал, – искренне признался я и сунул записку в карман куртки.
- Что, так напугала? – попыталась пошутить она, но получилось невесело, натужно.

³ Это та, которая сейчас Тверская.

– Ну не то чтобы напугала. Но в удачу уже не верил, – ушел я от ответа.

– Дай мне свой телефон, – сказала Мила. – А то ты, глядишь, такой напуганный, сам и не позвонишь.

Надо же, подумал я, объяснял, объяснял, так и не объяснил – не надо на нас, мужиков, давить. Мы, подавленные, резко теряем в качестве. Пересортица из нас тогда получается. Но номер все же продиктовал:

– Сто шестьдесят семь, сорок пять, восемь, восемь.

А потом распахнул низкую жигулевскую дверцу, вылез на пропитанный холодом, сырой, растопленный машинами, зябкий воздух. И в этом городском, полном суетливого возбуждения воздухе, посреди людской волны, торопливо, неловко огибающей мое застрявшее посередине тротуара тело, я вдруг почувствовал облегчение. Будто сбросил навалившуюся на плечи тяжесть, будто отработал какую-то непонятно кому задолженную повинность. А тут сразу освободился. Даже выдохнул тяжелый, застоявшийся воздух с характерным длинным, хоть и едва различимым «ух.» – очистил запотевшие легкие.

И все же я наклонился к еще приоткрытой двери и проговорил:

– Мил, а правда, мы здорово время провели? Вот бы каждый день так. – Она, видимо, моего притворства не заметила. Улыбка снова раздвинула ее губы, мгновенно спрятав под собой незащищенность, а вот глаз я не разглядел, они по обыкновению скрывались за непроницаемым темным стеклом.

Она кивнула, возможно, даже и сказала что-то в ответ, но я не расслышал, я уже захлопнул дверь.

Если честно, я сразу забыл и о ней, и о бумажке с номером ее телефона в кармане. Понятно было, что я никогда не позвоню ей и никогда не увижу, разве что опять ненароком наткнусь в одиноком, лишь прорезанном лыжной лесу. Что, конечно, маловероятно.

Ну зачем она мне нужна? Сложная, запутанная, со своим проблемным миром, бесконечно от меня далеким. К тому же она оказалась значительно старше меня. Когда защищают диссертации? Лет в двадцать пять – двадцать шесть, самое раннее. Значит, она была как минимум на шесть, а скорее всего на семь, даже на восемь лет старше меня. Поверьте, когда тебе девятнадцать, двадцатисемилетняя женщина кажется старой теткой.

Нет, тогда я ценил легкие отношения с беззаботными ровесницами, такими же беззаботными, как я сам, не отягощенными ни обязательствами, ни проблемами. Жизнерадостные отношения, простые, приносящие радость. Радость, а не заморочки.

А то, что знакомство закончилось впустую и не дало никакого сексуального результата. Что ж, Бог с ним, с результатом. Ведь все-таки я попал в приключение. Непредвиденное, неожиданное, совершенно непредсказуемое. Приключение не обязано иметь концовку. Незавершенные, оборванные на многоточии приключения даже лучше запоминаются, крепче фиксируются в памяти.

Я завернул в переулок, остановился у невысокого, покрашенного в блекло-голубой цвет здания, на стене у двери висела большая квадратная табличка: «Журнал «Юность»». Постоял две-три минуты, собираясь с мыслями, отодвигая Милу с ее клиническим психоанализом подальше, в максимально отдаленную, едва доступную часть подкорки. А потом, когда собрался, сконцентрировался, потянул на себя тяжелую деревянную дверь.

В то время журнал «Юность» был одним из самых заметных литературных изданий. Печатал в основном рассказы и повести начинающих, молодых писателей. По писательским меркам «молодых». И вот по этим меркам выходило, что я еще просто птенчик, новорожденный младенец. В принципе попасть на страницы «Юности» было делом чрезвычайно

сложным, даже невероятным. Тем более с улицы, без Литературного института за плечами или поддержки литературных тяжеловесов.

Но я был отчасти нагл, отчасти – наивен и беззаветно верил в себя. Верил, что конкурировать надо только с самим собой, что все достойное само пробьет дорогу, по той единственной причине, что оно достойно. А значит, просто надо стараться создавать хороший продукт. В моем случае, хорошие тексты. К чему я и стремился, и стремлюсь по сей день. Такой вот идеалистический подход, который, как показала жизнь, полностью себя оправдывает.

Вахтерша за столиком у входа меня приблизительно знала, только кивнула, пропуская. Я поднялся на второй этаж, там в широкий коридор выходило множество дверей, на одной из них висела табличка «Зеленый портфель». Именно туда мне и полагалось.

Дело в том, что на повести, даже на полноценные рассказы я тогда не замахивался. Крупная форма требует усидчивости и терпения – ни того, ни другого у меня не наблюдалось. Усидчивости хватало лишь на пятнадцать дней студенческой сессии два раза в год, да еще иногда на несколько часов у пишущей машинки, чтобы двумя пальцами натюкать небольшой рассказик. Тогда такие рассказы назывались «юмористическими», в «Юности» их печатали на самой последней странице, в разделе «Зеленый портфель».

Каждый из рассказиков я относил в десяток различных редакций, специализирующихся именно на подобных, в одну-две странички, текстах, и кое-где их брали на рассмотрение. Не все, не везде, не всегда, но все же брали и даже иногда печатали.

Вот и теперь я толкнул массивную, богато обитую черным кожзаменителем дверь.

За столом сидел совсем не старый (опять же, по писательским меркам) сидящий человек с веселыми голубыми глазами и играл в шахматы. Сам с собой играл. Я знал его, это был редактор «Зеленого портфеля» Сергей Славин, который вообще-то был драматургом, известным, почти культовым, но по совместительству отсиживался здесь, в «Юности», ради небольшой, но стабильно капающей зарплате. Отсиживался и играл в шахматы.

Он раздосадованно взглянул на меня, очевидно, ему не хотелось отрываться от разбираемой партии, но все же пришлось. Как полагается, встал из-за заваленного бумагами стола, протянул руку.

– Вот, – сказал, – никак не могу задачу решить. Мат в четыре хода. Поможешь?

Конечно, я был польщен тем, что он так запросто, на равных обращается ко мне. При этом не обольщался, имя мое он вряд ли помнил, хотя тот факт, что он меня вообще узнал, уже обнадеживал.

Минут двадцать мы просидели над задачей, потом все же раскололи ее. Настроение у редактора сразу заметно улучшилось, он потянулся, заломив руки, и хрустнул пальцами, всеми одновременно.

– Ну, что принес? Наверняка шедевр? Давай, доставай, показывай.

Я вынул три сложенных вчетверо листка. Славин заглянул в каждый из них, заметил удовлетворенно:

– Немного, это уже хорошо. Ты, я смотрю, прогрессируешь, с каждым разом все короче и короче. Знаешь, что Чехов про краткость говорил? – поднял он на меня смеющиеся глаза.

– Знаю-знаю, – заверил я.

– Ты не против, если я вслух почитаю?

– Конечно, – кивнул я. Все недлинное Славин всегда читал вслух. А длинное не читал вообще. Ни вслух, ни про себя.

– Отказ, – начал было редактор и тут же оторвался от листка. – Это название? – Я кивнул. – Неудачное, негативное. Впрочем, ладно.

Не то чтобы Сеня был рассеянным, скорее он был увлекающимся⁴. Поэтому когда он сел в полупустой автобус на конечной остановке и открыл книгу, реальность сразу приняла расплывчатые очертания. Впрочем, ненадолго. Вскоре жизнь снова надвинулась на него в виде обширных форм незнакомой тетки с явно натренированной грудью. Под сочувственные вздохи окружающих тетка вспомнила всю свою одинокую жизнь, и, перемежая исторические даты с народным фольклором, подвела черту:

– Слышь, парень, давай, уступи мне свое место.

Переживая промашку, Сеня встал, забился в самый конец автобуса и с облегчением выскочил на ближайшей остановке.

Впрочем, в жизни все сбалансировано. На работе Сеня тут же попал в дружескую, даже праздничную и оттого непривычную обстановку. Только к середине дня за обедом в соседней столовой Виктор Иванович раскрыл Сене и без того большие глаза.

Виктор Иванович отличался двумя качествами – он приносил на работу большие, с полбатона, бутерброды и был хорошим парнем.

– Завтра вводят новое штатное расписание, – взволнованно проговорил он.

– Ну? – многозначительно поинтересовался Сеня.

– Видишь ли, Семен, – на работе Сеню уважительно называли Семеном, – шеф сказал, что тебя руководителем группы назначат.

От неожиданности Сеня чуть не подавился радостью. Так как идей у Сени было больше, чем времени на их реализацию, группа ему бы не помешала.

– Отлично, Витя, – протрубил он. – Теперь развернемся.

– Видишь ли, Семен, я с тобой как раз на эту тему поговорить хотел, – потупился Виктор Иванович.

Сеня выжидательно вытянул ноги.

– Ты же знаешь, Семен, жена у меня. Двое детей, ты их видел, да и лет мне уже. А должность, как у тебя, да и зарплата, сам знаешь. Неудобно уже на такой зарплате. Короче, жена сказала, что, если меня сегодня не повысят, бутерброды больше делать не будет. Да и много чего другого делать не будет. А группу бы дали, это и должность, и тридцатка дополнительная в месяц. Ты молодой, Семен, способный, да и холостой к тому же, у тебя вся жизнь впереди. А у меня жена и двое детей. – Виктор Иванович безнадежно махнул рукой и наконец с трудом выдавил из себя: – Уступи мне свое место, Семен, а?

Сеня уже понял, что не устоит, но все же попытался:

– А как же работа, Вить? Столько планов...

– Двое детей, Сень, да и жена. – повторил Виктор Иванович уже предчувствуя, но еще не веря в удачу.

Сеня обреченно махнул рукой.

«Да ладно, Бог с ним, наука не терпит суеты», – успокаивал он себя, вращая диск телефона.

Вечером он заехал к Лехе, как всегда, не с пустыми руками. Сбросив пиджак, а с ним и напряжение дня, Сеня обрел то редкое состояние, когда стрессы выходят наружу, а освободившееся пространство заполняет свежий вечерний воздух из открытой настежь балконной двери. Воспоминания сменяли действительность, в свою очередь, уступая место мечтам.

– Слушай, Сень, я тут жениться собрался, – хохотнул Леха, резко повернув незамысловатую беседу в новое русло.

⁴ Сейчас, когда я пишу эту книгу, меня разбирает соблазн вставить в нее какой-нибудь более поздний текст, зрелый, продуманный. Но соблазну я не поддаюсь. И привожу именно тот рассказ, который в свои девятнадцать лет передал из рук в руки редактору «Зеленого портфеля». Ведь известно, что каждое, даже самое незначительное произведение есть продукт своего времени. Вот и этот рассказик при всей его юношеской наивности и незамысловатости является, так или иначе, отпечатком времени, в которое был написан.

- Да ну! – не поверил Сеня.
- Не, серьезно, старик, ты только не напрягайся, действительно решил.
- И на ком? Кто избранница? – Сеня с неподдельным интересом подался вперед.
- Я тебя предупредил, не напрягайся, – наставительно повторил Леха. – Женюсь на

Маринке.

- На какой Маринке?
- Как на какой? На твоей!

Тут Сеня сделал слишком большой глоток крепкой жидкости, что привело к затянувшейся паузе.

– Но она вроде как моя девушка, – промямлил Сеня, когда восстановил сбившееся дыхание. – Да и знаю я ее лучше. Ты же понимаешь, мы с ней знакомы предельно близко.

– Пустое, старик, меня такие мелочи не волнуют. Как там у классика? «О времена, о нравы.» – проявил эрудицию Леха. – Впрочем, исходя из того, что право первородства все же за тобой, готов попросить официально. – Леха наклонился вперед, как Виктор Иванович давеча: – Уступи мне свое место, старик.

– Свято место пусто не бывает, – после паузы, тяжело вздохнув, согласился Сеня и прикрыл балконную дверь.

Домой он вернулся поздно. Как ни удивительно, родители еще не спали. Мама подозрительно избегала его взгляда и даже не отреагировала на разгоряченные алкогольные пары, заполнившие небольшую Сенину комнату.

– Завтра тетя Ляля с мужем приезжают из Киева. Останутся у нас. Придется тебе, Сенечка, уступить им свое место.

- А я как же? – уже ничему не удивляясь, по инерции спросил Сеня.
- Ничего, на полу поспишь, – развела руками мама.

Ночью Сеню разбудил стук в окно. Спросонья он не удивился, хотя и жил на девятом этаже. Не испугался он и тогда, когда открыл фрамугу и незнакомый, плохо выбритый мужичок в побитом ватнике тяжело ввалился в комнату.

– Слушай, парень, дело есть, – нагло заявил он.

Сеня машинально потянулся за пиджаком, в котором днем еще позвякивала мелочь.

– Да не, – поморщился незваный гость, – не суетись, я не за тем. Я на твое место пришел. Уступи мне свое место, парень.

– Какое место? – Сеня протер глаза руками.

– Как какое? Здесь, на земле, – пояснил пришелец.

– Вы что, с ума сошли? – вежливо поинтересовался Сеня.

– Да ты не ершишься. Видишь ли, я там в очереди стою, – Мужик неопределенно указал пальцем в небо. – В очередь на замену. Тут у вас места освобождаются, а у нас там очередь. Понимаешь? Вот я и подумал, раз ты всем уступаешь, может, и мне уступишь. Может, ты уже созрел, чтоб смениться.

Утром, проснувшись в холодном поту, Сеня никак не мог вспомнить, что же он тогда ответил. Но тот факт, что проснулся именно он, Сеня, его успокоил.

На конечной остановке в полупустой автобус Сеня вошел легким, твердым шагом. На двойном сиденье студент-первокурсник рисовал в тетрадке какие-то формулы и что-то занудно бубнил забившейся к самому окошку сокурснице. Девушка беспомощно озиралась, но деваться ей было некуда и приходилось слушать.

Сеня склонился над студентом и, когда тот поднял на него глаза, процедил:

– Ну-ка, уступи место старшему, сопляк.

Когда он подсел к девушке, взгляд ее был полон искренней благодарности. И не менее искреннего внимания.

Чтение заняло минут двадцать, медленное, докучливое, монотонное, без выражения, постное. Как будто редактор перемальвал пресную, плохо жующуюся жвачку, которую и выплюнуть жалко, и глотать не хочется. Периодически Славин прерывался, запивал жвачку из стакана, в котором мелко колыхалась коричневая жидкость. Либо чай, либо коньяк.

Наверное, все же чай, предположил я, так как свежим алкоголем в редакторском кабинете не пахло. Старым, устоявшимся, впитавшимся в стены, в большой офисный стол, в кипы бумаг, даже в шахматную доску, даже в расставленные на ней фигуры – такой перманентной, не выветривающейся алкогольной примесью редакторский кабинет отдавал заметно. Будто он когда-то утонул в вязком спиртном болоте, но его все же выловили, подняли на поверхность, долго сушили, оттирали и почти оттерли. Но как полностью оттереть то, что проникло в поры, впиталось в молекулярную структуру, стало неотъемлемой частью?

Пока Славин читал, он, казалось, совершенно позабыл обо мне, даже глаз не поднимал, да и когда закончил, еще некоторое время разглядывал что-то на последнем, лишь наполовину заполненном печатными буквами листке.

Видимо, мое имя, которое я предусмотрительно впечатал в самом конце. Вот так освежив его в памяти, Сергей Григорьевич поднял на меня свои светлые, полные постоянного веселого прикола глаза. Опять же не спеша встретился с моими, тоже светлыми, тоже веселыми, тоже не чуждыми прикола.

– Толь, – наконец озвучил он мысль, утвердительно покачивая ей в такт головой, – у тебя такой пронзительный, цепкий взгляд. – Он выдержал паузу, и радость завихрилась у меня внутри где-то на уровне живота и так вот, завихрениями, по спирали, стала подниматься вверх. – Ты должен пронзять жизнь, схватывать ее, просекать разом ее законы.

Радость бурлила все яростней, заполнила грудь, подступила к горлу. «Наконец-то, наконец-то, – пульсировала радость у самого кадыка, – наконец-то я все-таки пробил, протаранил насквозь, наконец-то меня оценили».

– Ты талант, Толь, это же очевидно, – закрутил туже, почти до упора Славин. И сразу с силой, с оттяжкой раскрутил. – Ну почему же ты пишешь такую херню?!

Даже я, несмотря на глубокий шок, оценил. Вот оно, мастерство театральной паузы! Вот она, драматургия повседневной жизни!

Наверное, от слова «херня», произнесенного по поводу моего долгими часами высиживаемого и в результате высиженного рассказа, я должен был впасть в уныние, побледнеть, обидеться, в конце концов. Но я не обиделся. Я же говорю, я оценил. И вместо обиды и уныния я захохотал, не так чтобы с чрезмерным энтузиазмом, но все равно от души – я всегда уважал хорошую шутку, даже если подшучивали надо мной самим.

Видимо, смех оказался самой правильной реакцией в этом юморном, для смеха же и предназначенном кабинете. Славин тоже улыбнулся, отложил мои три заветных листка.

– Ну, и что ты всем этим хотел сказать? Что мы живем в собачьем мире, начиная от такой ерунды, как место в трамвае, и заканчивая нашей жизнью и судьбой в целом?

– В автобусе, – зачем-то поправил я.

– И чтобы быть адекватным, надо самому стать точно такой же собакой. Иначе кранты. – Он оставлял паузы между фраз, будто стремился к диалогу, будто ожидал от меня ответных реплик. И дождался.

– Но у собаки тоже бывает томный, преданный, с поволокой взгляд, – добавил я объема в разговор.

– Тоже верно, бывает и с поволокой, – почему-то легко согласился Славин и снова помолчал. – Но у нас ведь государство социалистическое, так? – Я кивнул. – А значит, никто у нас собачиться не должен, особенно в журнале «Юность», особенно на его юмористической страничке.

– Но у меня же мягко, – не согласился я. – Даже метафорично. К тому же вплетено в повседневную нашу жизнь.

– А когда небритый мужик к нему ночью в окно влезает, это тоже из повседневной жизни?

– Это же аллегория, – развел я руками.

– За такие потусторонние аллегории, – наставительно заметил веселый редактор веселой странички, – запросто можно работы лишиться.

– Да ладно! – не поверил я.

– Вот тебе и ладно. – Славин задумался, отбивая пальцами какой-то незамысловатый ритм на сукне рабочего стола. – В целом, неплохо. То есть не так чтобы хорошо, но хорошего вообще мало бывает. А к нам, Толь, оно вообще почти никогда не поступает. – Он снова замолчал, как замолкает, наверное, на секунду судья перед вынесением приговора. Такая естественная театральная пауза, хочешь, не хочешь, мы все к ней порой прибегаем. И снова внутри меня затрепетала надежда. На сей раз трепет не обманул.

– Ну что ж, покажу главному. Главный у нас решает все.

– Главный везде решает все, – зачем-то подхватил я. – Сергей Григорьевич, я задумал целый цикл про Сеню написать, такую серию рассказов. – Он не перебивал, слушал. И я воспользовался, стал втискивать в отведенные мне минутки множество быстрых, наезжающих друг на друга слов. – Он такой типаж: немного несуразный, неловкий, у него, как правило, нелады с девушками. Но в целом он добрый, порядочный, просто скромный слишком, и с ним случаются всякие смешные истории. – Я замолчал. Я бы продолжил, но не знал, что сказать еще.

– И вот это первая смешная история? – Славин ткнул пальцем в раскинутые перед ним веером три белых листочка.

– Вроде того, – кивнул я.

– Неси следующие, когда напишешь. Только пиши хорошо, лучше, чем это. И поменьше потусторонности, потусторонность у нас не любят. А типаж твой вполне симпатичный, хотя давно уже разработанный до предела. Но ты пиши, может, выжмешь из него еще что-нибудь. Дело не столько в типаже, дело в том, как он подан и что вокруг него происходит. Дело в сюжетности, понимаешь, в самой истории. И в стилистике, конечно. Искриться должно и пузыриться, как мыльная пена под струей в ванне.

– Ну да, про пену я понимаю, – кивнул я.

– А насчет твоего первенца, – Славин опять указал на мои заветные листочки, – позвони через две недели, я главному покажу.

И мы протянули друг другу руки, вернее, он мне сначала протянул, а уж потом я пожал.

Я спускался по лестнице, и с каждой ступенькой мое настроение все поднималось и поднималось. К тому моменту, как я ступил на подмерзшую мостовую, оно взлетело выше соседних, заваленных снегом крыш. Я сжал кулак, потряс им в победном жесте, так вскидывают руки футболисты после забитого гола. «Молодец, Толик», – одобрительно прошептал я себе.

А что, и в самом деле молодец! Конечно, то, что рассказ покажут главному, еще ни о чем не говорит, еще не значит, что его напечатают. Но Славин – тоже важный этап, и кажется, я его удачно прошел. В любом случае сразу не отшили, как обычно бывает, и уже хорошо. Ведь практически всех отшивают, я-то знаю.

Я подошел к метро, постоял пару минут, смакуя свою пусть незначительную, но победу, а потом все же спустился под землю. Путь мой лежал через станцию «Площадь Свердлова» (теперь «Театральная»), где я делал пересадку на станцию «Проспект Маркса» (теперь «Охотный Ряд»), оттуда по прямой, минуя «Площадь Дзержинского» и

«Кировскую» (теперь «Лубянка» и «Чистые пруды»). На землю я планировал подняться на станции «Лермонтовская» (теперь «Красные Ворота»). От «Лермонтовской» ходил троллейбус номер 24, который должен был довезти меня до моей родной альма-матер⁵.

До «Площади Свердлова» я доехал как по нотам, пересадка прошла тоже вполне гладко, да и до «Лермонтовской» поезд докатил меня без происшествий. А вот на самой «Лермонтовской» происшествие случилось.

Я уже шел по вестибюлю к выходу, как говорится, «по ходу движения поезда», уже подходил к эскалатору, уже почти занес на него ногу. И вдруг меня обожгло! Так, наверное, пуля останавливает бегущего в атаку (или, наоборот, бегущего от атаки) бойца. Сначала обжигает, потом он уже не бежит, и лишь после, чувствуя боль, боец с ужасом осознает, что ранен.

Так же произошло и со мной: сначала обожгло, потом я перестал двигаться, потом почувствовал боль, а потом понял, что ранен. Не смертельно, наверняка излечимо, но все же поврежден.

Она стояла лицом ко мне на бегущей вниз ленте эскалатора, то есть плавно приближалась к той самой точке, в которую – остолбеневший, онемевший – напрочно врос я. И чем ближе ее подвозили железные прямоугольные ступеньки, тем острее я ощущал свое на глазах углубляющееся ранение. Вот оно уже достигло груди, длинной вязальной спицей пронзило легкие, вот, ворочаясь там и вязко шебурша, передвигая внутренности, достало до сердца.

Все вокруг отступило, отъехало, подернулось туманной дымкой, растворилось в ней. Уже исчезла и станция метро «Лермонтовская» в бордовом с коричневыми всплесками граните, и бесконечно тянущий свою тугую гусеницу эскалатор, и люди, в тяжелых зимних одеждах бессмысленно куда-то спешащие. Как перестало существовать и само метро, и двадцатый век, во всяком случае, его посредственное окончание, и даже ничемно растянувшееся время, даже я сам. То есть я как-то еще существовал, но совершенно выпав из времени.

А все потому, что девушка, плывущая ко мне, не принадлежала ни эскалатору, ни станции метро, но главное – этому замызганному, заплеванному, затоптанному вместе с окурками в грязь времени. Она казалась частью совсем иного мироздания, ушедшего, безвозвратно утерянного, светлого, чистого, которое мы знаем только по картинкам в старых раритетных книгах.

На ней была серая, короткая, до колен, дубленка, легкая, с белыми меховыми отворотами, длинная темная юбка, из-под которой торчали носики коротких сапожек. Голова покрыта белым, невесомым пуховым платочком, очерчивающим овал узкого личика с румяными щечками, со смеющимися, полными искренней радости глазами и прелестными ниточками губ. Она была словно из той песенки, которую мы так часто пели под гитару:

*Гимназистки румяные,
От мороза чуть пьяные,
Грациозно сбивают
Рыхлый снег с каблучка...*

Не знаю, гимназистка или институтка, но барышня передо мной, без сомнения, сошла со страниц книги либо Толстого, либо Бунина, либо какого-нибудь рассказа Чехова. Скорее Чехова, так как она не принадлежала ни к высшему свету, ни даже к столичной жизни, скорее

⁵ Ну ладно, со Свердловым, Кировым, Марксом и Дзержинским – с ними понятно. Но вот почему Лермонтову досталось, почему его станцию переименовали – не ясно совсем. Мне всегда было его жалко – с женщинами не везло, на Кавказ сослали, погиб не вовремя, а тут еще и станцию безо всякой причины отобрали.

провинциальной, уездной. Дочь какого-нибудь местного доктора или директора школы, доброго, интеллигентного, но не богатого, без связей, без знатных столичных родственников.

Да я и сам больше не чувствовал себя собою, а скорее своим дедом или даже прадедом, вот так бесцельно бредущим по мостовой вдоль деревянных с печными трубами домов, отгороженных аккуратными палисадниками. И вот навстречу идет она. И сразу становится ясно, что если она пройдет сейчас мимо, если не останется в моей жизни навсегда, то не будет будущего, не будет детей, внуков, правнуков. А значит, не будет и меня теперешнего, стоящего сейчас в плохо освещенном вестибюле станции «Лермонтовская» у медленно, тоскливо ползущего эскалатора.

Она, конечно же, заметила мой ошарашенный взгляд, но не смутилась, а стрельнула в меня смеющимися, лукавыми глазками, впрочем, лишь вскользь, лишь едва, и прошла мимо.

Ее нельзя было упускать, я просто не имел на это права, от меня зависела судьба этого потерявшегося во времени города, возможно, всего человечества, судьба мироздания. Как минимум моя собственная судьба.

Незадача заключалась в том, что барышня была не одна, а с подругой, которая, увы, меня не интересовала. Более того, мешала.

Знакомиться с девушкой, да еще в метро, вообще дело неблагоприятное, требующее особых навыков – не только куража, но и импровизации, полета, – творчества, иными словами. А когда она с подругой, дело практически безнадежное. Девушке неловко перед подругой, подружке перед девушкой, и сразу возникает напряженность. А напряженность – злейший враг полета и творчества. И ты невольно зажимаешься, и деревенеют в тебе мысли, слова застревают в горле, и сердце качает по всему телу кровь, зараженную вирусом обреченности. Обреченности на неудачу.

Вот я и плелся за ними по гранитной платформе теперь уже «против хода движения» и не мог решиться подойти. Хотя не решиться тоже не мог.

Говорил ли я, что я фаталист? Что верю, что ничего не происходит случайно? Что теория вероятностей успешно работает только для тех, кто готов ее, вероятность, просчитывать каждый раз до девятого знака? А если ничего не просчитывать, то, как суждено, как предначинено, так в результате и произойдет?

Вот и они остановились на самой середине вестибюля и, как принято между гимназистками, поцеловав друг дружку в щечку, разошлись в разные стороны – подружка на поезд в сторону «Юго-Западной», а моя избранница – в сторону «Преображении». А это означало, что судьба подарила мне шанс. Щедрый, обильный, спелый, как грецкий орех, у которого от спелости трещат скорлупка и все внутренние перегородки.

Поезд еще не подошел, в моем распоряжении имелась минута-другая, но не больше, а значит, права на ошибку, как и у сапера на минном поле, у меня не оставалось. Я нырнул было в спасительную память, но никакой заготовленной летучей фразы, которой можно с ходу перевернуть девичью жизнь, там не нашлось. Пришлось пойти ва-банк – лишь обнадеженный ее лукавой смеющейся улыбкой, лукавым смеющимся взглядом да бьющей наотмашь налитой, нерастроченной женственностью, я сказал то, что чувствовал. В конце концов, искренность тоже неслабый инструмент, если умело им пользоваться.

– Вы знаете, что вы отщепенка? Что вы диссидентка? – начал я в духе советского времени. И хотя огульность обвинения запросто могла ошарашить любого, она виду не подала – все так же смеялась мне в лицо, как и всему остальному, бессильному перед ней миру. – Говорил ли вам кто-нибудь, что вы подвергаете сомнению саму идею трехмерности пространства? Станции «Лермонтовская», например? Всего Метрополитена имени Ленина? Что реальность зависит единственно от вас, что вы держите ее на поводке, как бобика?

Я выдержал небольшую паузу, давая ей возможность переварить мою сумбурную тираду.

– Правда? – лишь произнесла она в ответ. Голос у нее был такой же лукавый и смеющийся, как глаза. Другого и быть не могло.

– Правда. Вы противоречите этому миру. – Я повел рукой, определяя «мир». – Ему становится стыдно за свою ущербность, когда он встает навытяжку, отчитываясь перед вами. – Видимо, я перегнул, лицо ее выразило удивление, будто она хотела спросить: «Неужто?» Но я уже завершал: – Говорил ли вам кто-нибудь, что вы из другого измерения, из другого пространства?

Я снова выдержал паузу, но очень короткую, – платформу уже прорезали огни надвигающегося поезда.

– Возьмите меня с собой. Туда, к вам. Я обещаю, я пригожусь, я буду подмогой.

Она смотрела на меня, смеялась, оценивала, думала – брать или не брать в свой далекий мир, в который мне без нее было не попасть.

– Я бы взяла, – наконец произнесла она сквозь режущий скрежет тормозящего поезда, – но вас кто-то уже зовет с собой. – И она указала пальчиком в черной перчатке куда-то мне за спину.

Я непростительно обернулся. Леха Барков стоял в вестибюле и махал мне рукой.

– Тосс! – кричал он мне с каждым взмахом. – Эй, Тосик!

– Подожди! – крикнул я. – Подожди пять минут! – И тоже замахал ему, вернее, на него.

И тут же, забыв про Леху, вернулся назад к моей избраннице. Но ее не было. Только что была – секунду назад, ну, может, две, – и все, исчезла. Я огляделся: перрон был пуст, передо мной желтым перенасыщенным электрическим пятном светил вагон с открытыми еще прямоугольниками дверей. Я шагнул вперед. Двери вагона двинулись, неловко, словно нехотя. Сделал еще один шаг – двери, набирая скорость, начали сходиться. Рванулся, прыжок, второй – двери врезались друг в друга, лязгнули не до конца смягченным резиной лязгом, я попытался просунуть между ними ладонь, но опять не успел.

Она стояла прямо передо мной, в нескольких сантиметрах, за стеклом дверной перегородки, и смеялась. Мне ли она смеялась, надо мной ли? Или над всем окружающим, чуждым ей миром? Видимо, все же надо мной, вернее, тому, как ловко меня провела. Даже не провела, а просто в ее недоступное, отгороженное от посторонних пространство таких растяп, как я, не пускают.

Я взмахнул в отчаянии руками. Постучал пальцем по запястью левой руки, по стеклянному циферблату часов.

– Завтра! – крикнул я, зная, что она меня не слышит. – Завтра в это же время!

Я стучал по часам, кричал, но она не ответила ни кивком, ни движением губ, только смеялась в ответ, весело, озорно, словно предлагая разделить радость ее, недостижимого для меня, мира. Лицо ее, хрупкое, узкое, еще больше суженное белым пуховым платком, на котором я мог сейчас разглядеть каждую петельку узора, в светлом проеме на фоне темного перрона казалось неземным – так рисовали мадонн итальянские мастера Возрождения. Только без младенца, еще до родов, даже до зачатия.

А потом лицо моей мадонны двинулось, замерло на мгновение, двинулось снова и поплыло, сначала медленно, потом все быстрее, все стремительнее под сдавленный скрежет тяжелых железных колес. Так ее улыбка и осталась – лишь в моей памяти.

Я вздохнул, обернулся и вернулся в свой мир, которому и принадлежал, к толпе уставших людей с серыми мрачными лицами, бесконечным потоком льющихся на мрачную платформу, к Лехе, поджидавшему меня в глубоком арочном проходе.

– Лех, – сказал я, подойдя к нему, – ты все испортил. Все заперол. Надо же тебе было именно в эту секунду появиться. И окликнуть меня.

– А чего? – не понял мой однокурсник.

– Девушку видел? Ту, которая рядом со мной стояла? Я к тебе обернулся, а она в поезде уехала. Не позвал бы ты меня, я бы не обернулся, она бы не уехала. Со мной бы осталась. – Я снова вздохнул: у меня был единственный шанс, и я так нелепо его упустил.

– Какую девушку? – не понял Леха. – Нет, не видел. Не было никакой девушки. Ты был, а девушки не было.

Я посмотрел на него: не шутит ли он, не подкалывает ли меня? Нет, он не шутил, не подкалывал, он действительно не видел. «А что, если ее вообще не существовало? – подумал я. – Вернее, не так. Она существовала, но только для меня одного. А другим видеть ее не дано. Значит, она появилась здесь, на «Лермонтовской», только с одной целью – забрать меня с собой, в свой недоступный мир. А я взял и по-дурацки все проморгал!»

– Ладно, Лех, – вздохнул я, – забудь про девушку. Думай о чем-нибудь другом.

Он согласно кивнул, и мы побрели по вестибюлю – снова «по ходу движения», снова к скрипучему, составленному из искусственных ступенек эскалатору.

Вставка вторая Выбор темы

В будние дни я встаю в семь утра. Для меня это мучительно рано, если бы не ребенок, я спал бы и спал, проспал бы любое, самое важное дело. Но поразительно, ответственность за ребенка легко перевешивает ответственность перед самим собой. Будильник, подключенный к радио, читает новости Би-би-си с вычурным британским акцентом, я встаю, привожу себя кое-как в порядок и иду на первый этаж готовить сыну нехитрый завтрак. К тому моменту, как я начинаю будить Мика, дом уже пропитывается теплым запахом поджаренного тоста, души шелестит, нагревая ванную комнату теплой мокрой туманностью.

Мик категорически отказывается вставать, молит дать ему еще минутку, еще две, ругается, отталкивает меня. Ах, как я понимаю его, в моем детстве ранние подъемы в школу были самой жестокой пыткой. Именно поэтому я стараюсь не сердиться, а бужу сына неспешно, внедряясь в его потревоженный сон ласково, а потом, улучив момент, подхватываю на руки почти безжизненное тело и несу его под мягкие, теплые, бодрящие струйки душа. Только так Мик приходит в себя, его глаза наполняются нетвердой утренней жизнью, щеки розовеют. Я заворачиваю его в махровый халат и тащу на кухню, где его ждут готовый сэндвич и стакан молока.

У меня самого по утрам аппетита нет. Мик тоже не проявляет рвения, большие смотрит в окно, отвлекается, но в отличие от меня его ожидает насыщенный учебой день, и зарядиться протеинами ему необходимо. Пока он запихивает в себя куски сэндвича, мы болтаем о его предстоящих учебных заботах, о том, что будем делать вдвоем после школы. Иногда наскоро повторяем какой-нибудь выученный вчера урок – в общем, обычные родительские заботы.

На завтрак отведено десять минут, но занимает он, как правило, минут пятнадцать, а то и двадцать, и в школу мы уже опаздываем. Я начинаю нервничать, покрикивать на сына, подгонять, сетуя на его медлительность, и в результате, кое-как собравшись, мы выскакиваем из дома. Мик на ходу натягивает куртку, я яростно выгоняю машину на дорогу и, нарушая не только правила дорожного движения, но и физические законы сонной Магнолии, пробиваюсь через густой, масляный воздух, разрезая его острым носом моего «Мустанга».

В школу мы опаздываем, хотя и ненамного, минут на пять, на семь, учителя уже привыкли к нашей непунктуальности и махнули на нее рукой, а некоторые даже относятся с сочувствием и пониманием. Все же папаши-одиночки здесь встречаются редко и вызывают (после кратковременного недоумения) умиление, иногда даже слезливое, особенно у молодых, проживших в своих жизнях теток-учителей. Мик выходит из машины, я целую его в лобик, он касается губами моей щеки, на мое стандартное: «Давай, малыш, грызи гранит...» отвечает что-то типа: «Ты, пап, тоже не скучай», тянет на себя тугую школьную дверь и, перед тем как исчезнуть в темной прорехе дверного проема, еще успевает обернуться и махнуть мне рукой.

Так у меня появляется шесть с половиной чудесных часов, когда я предоставлен самому себе. Я обожаю эти утренние часы, когда ни от кого не завишу, не связан мелочным, гнетущим распорядком, когда меня не подгоняет расчетливое время, безжалостно отсчитывающее минуты, секунды. Я вообще не люблю время и стараюсь как можно меньше зависеть от него. Конечно, полностью отделаться от его бремени не удастся, но эти шесть часов принадлежат мне и только мне.

Сначала я захожу в кафе, то самое, расположенное на единственной игрушечной площадке, чистое, просторное, слишком отчетливо переполненное незамутненным, свежим, почему-то всегда прохладным воздухом. Молоденькая, симпатичная девушка Лори, подрабатывающая в утреннюю смену, улыбается мне, я не раз заговаривал с ней, но перейти грань обычной здесь доброжелательности так и не решился.

Я заказываю «латте» в самом большом картонном стаканчике, таком, который можно взять с собой и затем посасывать уже совсем остывший кофе все утро. Но первые глотки я делаю в кафе, минут пятнадцать сижу в глубоком кресле, собираясь с мыслями, составляя из них плотный, спрессованный пучок, чтобы потом, вскоре, у себя дома, вытягивать из него по одной тонкие извилистые нити и в результате сплести что-нибудь замысловатое.

Почему-то я предпочитаю работать на кухне, хотя в спальне на втором этаже, прямо у окна, стоит красивый и удобный письменный стол. Но на кухне мне пишется легче, во-первых, больше океанского простора втекает в огромное, на всю стену, окно, а еще здесь уютнее, все под рукой и не давит требовательной необходимостью работать, как, например, давит тот же письменный стол на втором этаже. Здесь, на кухне, вообще ничто не напоминает о подневольном труде, скорее о подспудном, естественно впитываемом из воздуха удовольствии.

Обычно я сижу за круглым, небольшим кухонным столиком, мы с Миком вполне им обходимся, передо мной маленький портативный «Лэптоп», рядом – картонный стакан «латте», принесенный из кафе. Сначала я смотрю в распахнутое окно, легкий бриз тревожит спутанным запахом океанской соли. Вскоре плоское нагромождение океанских бликов завораживает взгляд, их непрерывное движение гипнотизирует его, действительность отступает, перестает существовать, и на смену ей приходит другая – перекрученная, возбуждающая, мелким, почти сердечным биением перетекающая из меня в мой маленький, почти игрушечный компьютер.

Почему я решил написать книгу о своей юности? Ведь последовательное жизнеописание – не моя тема. Обычно в своих романах я пытаюсь совместить мир реальный и мир, с точки зрения привычных мерок, мало возможный, с трудом вмещающийся в наше обычное о нем представление. Мир на грани. Нет, он не связан ни с фантастикой, ни с метафизикой, он по-прежнему вполне уместится в рамках понятной нам реальности, но только где-то на самом хрупком, близком к распаду пограничном рубеже. Именно здесь, балансируя на тончайшей, до дрожи натянутой струне, я создаю свою собственную, только мне подвластную вселенную. В этом-то и состоит еще одна радость, еще одно возбуждение – балансировать на грани, прогибать сюжет, как тонкую живую ветку дерева, в упругом напряжении, не давая ему ни разогнуться (перейти в повседневность), ни переломиться пополам (выйти за рамки реальности). Так и удерживать в сдавленном, напряженном состоянии.

Я жду от книги большего, чем бытовое описание жизни. Всевозможные саги, хроники больших и малых семей, в которых разворачивается длинная череда повседневных событий, меня не увлекают. Так же как и многочисленные жизнеописания (этакие литературные «мыльные оперы»), пусть замысловатые, пусть эмоционально нагруженные. Мне мало просто истории, я сам знаю немало историй, они по-прежнему постоянно роятся вокруг меня.

Мне нужна от книги не только чувственность и искренность, но и загадка, двойное дно, когда привычная жизнь вдруг теряет очертания и поворачивается другой, неожиданной, стороной, и застываешь, ослепленный, понимая, что тебе открылось новое измерение, новое пространство, о существовании которого ты и не подозревал.

Встречая подобное откровение, я ощущаю, как волнующая изморось разбегаются вдоль позвоночника, сбивает дыхание, сердце сжимается от восторга, сознание чуда будо-

ражит, и я ощущаю счастье. И шепчу: «Надо же. из ничего... а вот создано... даже непонятно как... ведь смертный такого создать не может. но вот оно есть и теперь будет существовать века... чудо, истинное, божественное чудо».

Увы, подобное случается крайне редко. По себе знаю, требуется и озарение, и тяжелая, безостановочная работа ума, души.

Как энтомолог разглядывает через увеличительное стекло не изученное доселе насекомое, так и я пытаюсь в своих книгах рассмотреть жизнь, тоже через лупу, да к тому же под другим, новым, неизвестным прежде углом. Я не боюсь переступить границы реальности, обыденности, даже добра и зла. Ведь писатель – это больше, чем тщательный летописец жизни. Писатель – прежде всего СОЗДАТЕЛЬ, и мир, который он создает, должен быть уникальным, подвластным только ему, и никому больше.

Тогда почему же я взялся за описание собственной юности? Не противоречу ли я своим же установкам, своему внутреннему пониманию литературы? Не скатываюсь ли к посредственному, плоскому бытописательству? Я не раз задумывался над этим вопросом, мучился им – правильный ли я сделал выбор, построив «Магнолию» на повседневном, пропитанном бытом документализме? И мне понадобилось время, чтобы разобраться, чтобы убедить себя самого.

Я по-прежнему в поиске. А поиск требует постоянного обновления, поднятия новых пластов, выхода на новую стилистику. Хотя, наверное, мог бы эксплуатировать наработанные темы, которые уже принесли мне известность, зашкаливающие тиражи, деньги. Но разве желание играть на удержание не является признаком истощения, признаком захиревшей потенции, не только творческой, но и жизненной в целом?

Конечно же, при каждой новой попытке увеличивался риск не попасть, промахнуться, даже потерять какую-то часть аудитории. Например, в «За пределами любви» я вообще выбрал крайне рискованный, даже опасный путь, взялся за тему настолько тяжелую, запутанную, провокационную, что рисковал навлечь на себя массовое негодование. Да и «Американская история» коренным образом отличается от «Фантазий женщины средних лет» несмотря на то, что оба романа написаны от женского лица. Но как в жизни одно женское лицо не похоже на другое, так и в этих романах героини представляют совершенно разные, почти противоположные типажи. Да и посыл книг (или иначе, углы, под которыми рассматривается в них жизнь) абсолютно не совпадает.

Еще раз повторю: при выборе нового пути доля риска увеличивается. И все же не в поиске ли, не в постоянной ли попытке подняться над собой заключается радость творчества? Ведь простой секрет заключается в том, что для того, чтобы создать удачный текст (да и не только текст), автор сам должен получать стимулирующее, разящее удовольствие от процесса.

Вот так подспудно, постепенно я подошел к новой теме – своему прошлому.

Юность всегда притягивала меня, и чем больше я отдалялся от нее, тем сильнее было притяжение. Ведь юность, как это ни банально звучит, прелестная, волнующая пора. Ее не могут испортить ни нехватки, ни трудности, ни даже ущербность времени и места. Однажды я встретил пожилого человека, детство которого прошло в сталинском ГУЛАГе. И он утверждал, что это был самый счастливый период его жизни.

Но меня юность притягивает не только потому, что она хороша сама по себе. Она еще и основа всей последующей жизни, ее главный структурный блок. По тому, как человек прожил молодость, по тому, как она сформировала его интересы, пристрастия, стремления, взгляды, – по всему этому стой или иной долей точности можно предсказать даль-

нейшую его судьбу. Кем он станет, чего добьется, будет ли счастлив в любви, как вообще протянется последующая многолетняя рутина жизни.

Вот и получается, что внимательное, пристрастное изучение юности позволяет разобраться в человеке, внедриться в его характер. Но и не только. Жизнь невозможно отделить от времени, на которое она выпала. А значит, разбирая свою молодость, молодость людей, которые мне встретились, я, так или иначе, пытаюсь разобраться во времени, в том социальном, культурном слое, на котором замешено не только мое, но и последующие поколения. Ведь оно (время) в той или иной степени пометило всех нас.

Вот я и определил главные задачи «Магнолии» – на фоне юности, ее поисков, стремлений, ее событийной, эмоциональной плотности разобраться во времени, в том, какой отпечаток оно наложило на всех нас, на тех, кто был погружен в него. Как они, юность и время, повлияли и продолжают влиять на жизнь каждого из нас.

А появится ли в книге двойное дно, возникнут ли захватывающие дух объем и глубина, произойдет ли открытие новых миров, все это зависит от того, насколько я справлюсь с задачей, хватит ли мне упорства, тщательности, времени, ну и таланта, в конце концов. Да и многого другого, что даже бессмысленно определять.

Конечная остановка маршрута номер 24 находилась прямо у станции метро «Лермонтовская», троллейбус там делал маленький круг, огибая всегда пыльный, невзирая на время года, скверик, и снова выезжал на Новую Басманную. Мы с Лехой залезли в первый же троллейбус, плюхнулись на мягкое дерматиновое сиденье – Леха к окну, я ближе к проходу.

– Ты как, в универе своем отдался? – спросил я Леху, пока он, достав из кармана маленький пластмассовый скребок, расчищал морозную, узорчатую, почти молочную накипь с оконного стекла. У него была какая-то не то врожденная, не то приобретенная фобия, и ему требовалось видеть внешний затроллейбусный мир, от замкнутого троллейбусного ему становилось не по себе.

– Ага, отдался, – кивнул он. – Только пару экзаменов в «связи» пропустил. Те, что на один и тот же день выпали.

Глядя на Леху, трудно было заметить в нем признаки уникальности. Конечно, он был редкий симпатяга – светлые крупные кудри, приятные мягкие черты лица, может быть, даже слишком мягкие, тонкая, немного женственная фигура. Этакий белокурый Парис, еще не нашедший своей потенциальной Елены, даже не решивший, а нужна ли ему эта Елена вообще. Стоят ли ее прелести разрушения родной Трои.

Ну а открытый, ясный взгляд, не менее открытая улыбка и искреннее добродушие делали Леху симпатичным не только внешне, но и внутренне. Готов поспорить, что у каждого, кто задерживал на нем взгляд, мелькала одна и та же мысль – какие все-таки мы, люди, приятные, добрые, красивые существа.

Но и помимо своего обаяния, Леха являлся настоящим уникамом. Дело в том, что он был не просто студентом, а студентом в квадрате. После окончания школы он каким-то хитрым способом добыл себе второй экземпляр аттестата. Так у него образовались две вполне официальные корочки. Будучи парнем не только симпатичным, но и способным, он поступил в МГУ на биофак, а потом зачем-то еще и в наш уныло технический институт связи. На бесконечные вопросы «а зачем?», зачем поступать в «связь», если ты уже зачислен в более престижный универ? – Леха отвечал, что после школы не был уверен в своем биологическом призвании, техника его тоже манила, особенно входящие в моду компьютеры, по которым институт связи как раз и профилировался.

Поначалу Леха решил походить месяц-два в оба вуза, чтобы разобраться, какой ему больше по душе. Но вскоре выяснилось, что совмещать учебу совсем несложно. Конечно, о круглых пятерках речь не шла, но на двойную стипендию Леха тянул без труда. Если экзамены выпадали на один день, Леха заранее запасался больничным у знакомой участковой докторши (кто не захочет помочь белокурому дарованию с повышенной тягой к знаниям?), и пропущенный экзамен ему переносили на позднее, каникулярное время.

Постепенно выяснилось, что умноженное на два образование дает заметное преимущество при приблизительно одних и тех же затратах. Прежде всего, двойную стипендию, на которую Леха мог прожить уже без посторонней, родительской помощи. Но кроме того, за четыре студенческих года Леха не на шутку продвинулся в биологической науке, хотя тратил на нее в два раза меньше времени, чем его университетские сокурсники. А наш институт связи с его технической подготовкой давал Лехе уникальную возможность взглянуть на Дарвина, аминокислоты и прочие генные прибабасы в совершенно ином, непривычном для биологии, неортодоксальном контексте.

– Понимаешь, – развивал он мысль в холодном, тряском троллейбусе 24-го маршрута. – Что они про мир знают? Ну, ДНК, всякие там митохондрии, митозы, мейозы... Ну и все приблизительно. А общей картины не видят. А она ведь неоднородная.

Я молчал и кивал. Мне было интересно с Лехой, он своим пытливым умом всегда приносил что-то свежее, биологическое в мое понимание жизни.

– Например, не знают они, что жизнь базируется на обмене сигналами. Вот мы с тобой понимаем, что в компьютере все на этом построено. Что там куча разных железок и все постоянно обмениваются сигналами, причем разными. А компьютерные сети. Там вообще сигналов не сосчитать и все они снуют туда-сюда в разных направлениях. Ну, ты сам знаешь.

Я кивнул, я знал.

– Так вот, я новую концепцию создал. – Леха поерзал по сиденью, придвинулся ко мне чуть ближе. – По аналогичному принципу построена и вся наша жизнь. Я имею в виду галактики, планеты, нас, людей, наши части тела, молекулы, из которых они состоят, кванты, всякие там нейроны, кварки, те же аминокислоты. Понимаешь?

Пока я слушал, кивал, Леха поглядывал в оттертый от наледенения квадратик окна, чтобы убедиться, что мир за пределами троллейбуса все еще существует.

– Я тут статью одну прочитал, оказывается, растения тоже переговариваются. В смысле, обмениваются сигналами. – Он оторвался от внешнего, затроллейбусного мира, посмотрел на меня.

– Давай рассказывай, – подбодрил я Леху.

– В Индии, в джунглях, есть целые рощи особого бамбука. Он отличается от других бамбуков тем, что, когда его пытается сожрать какое-нибудь травоядное животное, он, защищаясь, выделяет через листья яд. Понимаешь, в своей обычной бамбуковой жизни, когда ему ничто не угрожает, он совершенно безопасен, а яд вырабатывает, только когда какой-нибудь индийский слон хочет им полакомиться.

– Умный бамбук, – отреагировал я.

– Так вот, заметили, что, когда слон начинает глотать одно растение, яд вырабатывается и у тех, которые пока никто жрать не собирает. Даже у тех, которые растут на другом конце рощи, а рощи тянутся на многие километры. Вот и получается, что растение, которым питается слон, посылает сигнал об опасности всем своим остальным собратьям.

– Как они это делают? – задумался я. – Может, через общую корневую систему? А у бамбука какая корневая система, общая или раздельная?

– Тосик, я давно заметил, что в душе ты биолог. Прямо в корень смотришь. В самый бамбуковый корень. У тебя с биологией тоже, видать, общая корневая система, – скаламбурил Леха. – Я проверил по справочнику, у этого конкретного бамбука корневая система

индивидуальная, у каждого растения своя. Вот и получается, что механизм обмена сигналами совершенно непонятен.

Леха замолчал, я тоже, похоже, мы оба одновременно задумались о бамбуке. Я так ничего и не придумал. Не знаю, придумал ли что-либо Леха, но минуты через две он снова оживился:

– Ладно, Бог с ним с бамбуком. Ты яйцо куриное ел, белок, там, желток?

– Ел, – сознался я, – и не раз. Обычно по утрам.

– Ты заметил, что оно со всех сторон одинаковое, верх ничем не отличается от низа.

– Ну и что? – не понял я связи с биологией.

– А то, что и на клеточном уровне оно абсолютно однородное, и на белковом уровне, и аминокислоты одни и те же, и вообще все в яйце абсолютно идентично. Никаких различий не зафиксировано.

– Ну и? – снова не понял я.

– Тогда откуда яйцо знает, где у него должна цыплячья голова расти, а где цыплячьи ноги? Если оно однородное, если все клетки у него совершенно одинаковые.

– И откуда? – нетерпеливо подтолкнул я Леху.

– Опять же никто не знает. – Леха улыбнулся. – А вот я знаю. Вернее, не знаю, но мысль у меня есть.

– Гипотеза, – подсказал я слово.

– Ага, гипотеза. Я думаю, что развитие клеток на уровне сигналов происходит. Для разных клеток разные сигналы. Для головы – один сигнал, для ног – другой, для крыльев – третий. Это я, конечно, упрощаю для ясности. Но идея в том, что каждой клетке посылается сигнал, сообщающий, что из нее должно вырасти. Принцип ничем не отличается от компьютерной сети. Только механизм сложнее, потому что сигналов на порядки больше.

– А откуда сигнал берется? Кто его посылает, если яйцо однородное? – снова поинтересовался я.

– Опять в точку попал. – Леха от радости аж хлопнул в ладоши. – Действительно, откуда? Раз яйцо однородное, значит, сигнал изнутри прийти не может. А раз не изнутри, значит, источник находится где-то снаружи.

– Ни фига себе! – присвистнул я. – И где же?

Биологический гений только развел руками.

– У нас, конечно, о такой концепции даже заикнуться невозможно, сразу из универа попрут. Сам понимаешь, не соответствует теория сигналов их материалистическому пониманию. Зашорены они на материализме и дарвинизме. А всего остального боятся. А вдруг идеологи наверху не одобряют?

– Ну да, ну да, – безразлично кивнул я.

– Но я в Ленинку ходил, в библиотеку, в смысле. Покопался в литературе. Они там, – Леха указал большим пальцем куда-то за спину, – на Западе, еще не тем занимаются. Особенно в Штатах.

– Серьезно? – снова удивился я.

– Ага, – коротко кивнул биологический отщепенец и снова уставился в просверленную в оконном инее дырочку, усмиряя, таким образом, свою ненасытную фобию.

Мы помолчали, а потом я вспомнил, что и у меня научная идея имеется. Не такая биологическая, как у Лехи, но тоже про природу.

– Лех, как ты думаешь, сколько на земле птиц? Не видов и подвидов, а всего особей по всему миру. Воробьев, голубей, чаек, галок, альбатросов, пеликанов, вообще всех скопом? Общее количество штук?

– Не знаю. – Леха пожал плечами.

– Ну, хотя бы больше, чем людей?

– Чем животное меньше по размеру, тем его обычно больше в количестве, – заявил уверенно Леха. – Муравьи вот маленькие, зато их немерено. – Я кивнул, я был согласен про муравьев. – А средняя птица раз в десять меньше человека, – продолжал размышлять вслух Леха, – значит, их должно быть раз в десять больше, чем нас.

– Значит, если людей три миллиарда, то птиц должно быть тридцать миллиардов, – прикинул я.

– Ну да, допустим, – согласился Леха.

– А какая средняя продолжительность жизни средней птицы?

– Не знаю. Попугаи лет семьдесят живут, а вот воробьи два-три года. Думаю, средняя продолжительность птичьей жизни лет пять-семь, не больше. Жизнь у них в принципе тяжелая, а чем жизнь тяжелее, тем она обычно короче.

– То есть каждые пять лет должны отбрасывать лапки около тридцати миллиардов птиц. Так? – Я посмотрел на Леху. Тут он оторвался от своей спасительной дырки в окне и тоже взглянул на меня, видимо, догадываясь, к чему я клоню.

– Ну, – согласился он, ожидая кульминацию. И кульминация последовала.

– Почему же, Лех, мертвых птиц не видно? Почему мы птичьи тушки не обнаруживаем? Лех, ты сам посуди, представляешь, тридцать миллиардов! Да они с неба на нас должны градом сыпаться. Вся земля должна быть ими усеяна. Где трупики, Лех?

– Я вообще-то видел несколько, – задумчиво протянул Леха, – но они машинами в основном задавлены были.

– Во-во, – подтвердил я, – насильственно умерщвленных я тоже встречал. Видел, как кошка голубя поймала. Но где те, что естественной смертью сдохли? Я за всю жизнь ни одной не видел. Да и у других спрашивал, никто не видел. Ни в городе, ни в лесу, ни в полях, даже на пляже. А там ведь чаек немерено, Лех. А у чаек даже гнезд нет.

– Да, интересно. – Леха еще больше погрузился в задумчивость. – Трупы, конечно, сжирают. Крысы, муравьи, прочие животные, но ведь не сразу сжирают. День-два они должны пролежать. А я тоже ни одной дохлой птицы не встречал, ни в городе, ни в лесу. Странно. Надо будет покопаться в литературе, наверняка там вопрос разбирается. – Он еще подумал. – А чего ты сам-то думаешь?

– Да понимаешь, Лех. – Я выдержал паузу перед решающим, нокаутирующим ударом. – Раз трупов нет, так, наверное, и самих птиц нет.

– Вообще нет? – недоверчиво переспросил он.

– Ага, вообще, – кивнул я. – Может, это чья-то выдумка, эти птицы. Кто-то пошутил так, понимаешь? Пусть, мол, мир разнообразнее будет. Пусть птички летают, чирикают, зернышки клюют, пейзаж улучшают. Ну, как бы для всеобщего удовольствия.

– Ничего себе, ты копнул. – Леха повел бровями, как бы в недоумении. Но я лишь подлил масла в горнило биологического пламени, бушующего в Лехиной душе.

– Ты говоришь, сигналы в яйцо извне яйца поступают. Представляешь, сколько требуется сигналов на каждую клетку каждого яйца? А яиц-то в мире не сосчитать. И не только куриных. Какой же мощный источник должен быть! – Леха кивнул, определенно соглашаясь. – Почему тогда этот же источник, который извне, не может насчет птиц прикольнуться? Да ему это после яиц вообще плевое дело.

– Значит, птицы – это своего рода мираж, галлюцинация, созданная, чтобы разнообразить картину жизни на Земле. Но почему тогда источнику не подбрасывать нам их трупики хотя бы иногда? Тоже для полноты картины.

Он взглянул на меня, я на него, и мы оба догадались одновременно.

– Думаешь, прокол? Ошибочка в общей программе?

– Ну да, недоработка, – дополнил я Леху. – А может, и наоборот, специальная задумка такая. Чтобы мы по отсутствию трупиков сами обо всем догадались.

– Как мы сейчас с тобой. – закончил за меня Леха и снова покачал головой. – Да, сильно.

Мы еще молчали минуты три-четыре, а чего тут скажешь, когда все вокруг тебя одна сплошная шутка? И мир за пределами троллейбуса, виднеющийся через пробуренный Лехой квадратик в окне? И мир внутри троллейбуса? И сама Лехина фобия. И возможно, даже мы с Лехой.

А потом все так же молча поднялись с сиденья, двинулись по качающемуся, нестойкому проходу к выходу и, когда троллейбус остановился и открыл двери, вывалились на закрученный морозом в тугую спираль воздух.

Мы прошли по Авиамоторной, затем свернули в переулок, ведущий к учебному нашему заведению. Свернули и остановились, застыв на месте. На тротуаре прямо под нашими ногами, на утрамбованном множестве ботинок, раскатанном до ледяных дорожек снегу лежал маленький птичий трупик. Мы оба аж обмерли.

– Надо же, – наконец первым произнес Леха.

– Да, – подтвердил я, – только мы обнаружили прокол, как нам трупик и подбрасывают. Прямо под ноги. Ты понимаешь, Лех, прокол прикрывают. – Мы помолчали. – А, может, наоборот, может, это еще одна шутка? Если наличие птиц одна большая шутка, то от этого трупика вообще обхохочешься.

– Да, похоже, источник любит похохмить. Прикольнуться так, – подытожил Леха и, пристально взглядываясь в маленькое органическое тельце, чернеющее на снегу, повторил: – Надо же, совпаденьице!

Я тронул его за рукав куртки.

– Да, загадка. Нам ее не решить.

Леха ничего не ответил, только недоуменно качнул головой.

В здании родного института на первом этаже, в вестибюле, с одного конца находился гардероб (в него мы и сдали наши куртки), а с другого – помпезная мраморная лестница. Вела она на широкую площадку, частично нависавшую над вестибюлем, называемую в народе «филодром». Понятно, от какого слова, конечно.

Этот самый филодром являлся главным местом всех встреч, запланированных и незапланированных тусовок, там, как правило, обсуждался один и тот же вечный вопрос: «А куда бы нам теперь рвануть?»

Вот и сейчас на филодроме нас уже поджидал Ромик. Он всегда нас с Лехой поджидал, не только потому, что мы обычно опаздывали, но и потому, что сам приходил минут на десять раньше условленного времени. Дело в том, что он был на редкость организованный и пунктуальный. А еще у него имелась цель. Вот мы с Лехой люди тоже, если разобраться, цельные, но порой все-таки ее, цель, не совсем четко различали. Леха иногда от переизбытка алкогольного дурмана в организме. Да и меня всякие побочные интересы частенько отвлекали. А вот Ромика от его цели ничто и никто отвлечь не мог – не было изобретено еще такого соблазна в подлунном нашем мире.

Ну а вдобавок к организованности и цельности он был по-настоящему толковый парень, особенно в технике, и понимал во всех наших науках такое, что другим было недоступно. Не только нам, студентам, но нередко и самим преподавателям.

Благодаря всем своим талантам Ромик не только получал повышенную стипендию, но и подрабатывал на двух кафедрах по студенческим научным договорам⁶. Там он разрабатывал всяческие компьютерные программы для местных аспирантов, которые потом на защите диссертаций успешно выдавали их за свои собственные. Кроме того, в выходные Ромик занимался ремонтом автомашин, внутренности которых знал назубок. Он даже не

⁶ Существовала подобная форма приобщения студентов к научной деятельности.

брезговал всякими нетехническими приработками, например, мелкими услугами одиноким хозяйкам – кому замок в дверь врезать, кому раковину установить. Причем все это Ромик делал без напряжения, повсюду успевал, ему даже на ночной сон времени хватало, пусть и короткий, но спокойный, без излишних мятельных сновидений.

Цели своей он, кстати, частично достиг и подкатывал к институту на личном «Запорожце» (была такая забавная машинка отечественной инженерной мысли), пусть подержанном, но зато приобретенном на свои кровно заработанные. «Запорожец», правда, оказался весьма капризным агрегатом, заводился только в сухую, ясную погоду, да и двигался неохотно, давая понять, что перетруждаться не намерен и, если что не по нему, запросто объявит забастовку. И часто ее объявлял.

Вот так столкнулся железный конь с не менее железным Ромиком Заславским, и коню в результате пришлось подвинуться. После того как Ромик несколько раз разобрал его по мелким деталям, усовершенствовав при этом что-то в общей инженерной конструкции, конь уже не брыкался, а заводился с пол-оборота и послушно двигался в нужном хозяину направлении.

А еще у Ромика, в отличие от нас с Лехой, имелась девушка, подруга, иными словами. Давно имелась, уже года два. Такое завидное постоянство резко отличалось от нашего с Лехой непостоянства. Ну, Леха-то ладно, ему двойное образование многие естественные потребности подменило. Я же о постоянной девушке даже и мечтать не мог. Потому и не мечтал. Да и они, потенциально постоянные девушки, похоже, обо мне тоже не особенно мечтали.

Я не раз спрашивал Ромика, зачем ему это. «Неужели тебя, старик, разнообразие не привлекает? Они ведь все разные! Это только Леха думает, что они ничем не отличаются, потому что он их анатомию досконально изучил и с закрытыми глазами по косточкам и органам разложить умеет. А для нас, кто с анатомическим атласом не знаком, каждый раз, как в первый, словно Америку новую открываешь. Ну, хорошо, – пытался убедить я Ромика в привычных для него терминах, – если тебя Америка не привлекает, представь, что каждая девушка, как новый, не разобранный еще тобою автомобиль. Принцип работы у них примерно одинаковый, но вот конструкция и составные детали – разные. Да и в эксплуатации они все резко отличаются. Ты представь только, что, помимо «Запорожца», еще и другие автомобили изобретены. Или вот тебе еще пример, вспомни Высоцкого. Как там у него – «Лучше гор могут быть только горы».

Ромик, не обращал никакого внимания на мою иронию и отвечал вполне серьезно:

– Понимаешь, Толик (я его звал Ромик, а он меня Толик), – конечно, я многое упускаю. Думаешь, я сам не знаю? Думаешь, мне не обидно? Конечно, обидно. Но пойми, это мой осознанный выбор. Да, я отказываюсь от разнообразия, но зато приобретаю стабильность. А в стабильности тоже свой кайф. К тому же кучу времени экономлю. Ты, например, в постоянном поиске находишься, то повезет, то нет. Сколько сил впустую расходуешь, а мог бы на какое-нибудь полезное дело потратить. А неудачи. Когда тебя отшивают. Это же болезненно, комплексы рождает.

– Да ведь к ним привыкаешь со временем, к неудачам, – вклинился я. – Они даже стимулируют начинают, общий тонус поднимают. Как без поражений победу-то оценить?

– Нет, – махал на меня рукой Ромик, – только лишние стрессы. Зачем они мне, я и без того по уши в стрессах. Мне от личной жизни тыл требуется, а не еще один фронт. Мне и так есть с кем и за что воевать.

Ну что тут возразишь, если чувствует так человек? И я оставлял тему, и не дразнил Ромика разнообразием, во всяком случае, до следующего нашего откровенного разговора.

Вот с таким правильным, работающим и постоянным Ромиком мы сдружились. Стали просто неразлейвода. Как там у Пушкина: «Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень.» В смысле, именно несоответствие дополняло и притягивало нас друг к другу.

Впрочем, была еще одна причина – нам было интересно вместе, и, несмотря на коренное различие в характерах и привычках, по духу мы были близки и во многом одинаково смотрели на мир. Пушкинская строчка, кстати, так и заканчивается: «..лед и пламень, не столь различны меж собой».

Сегодня Ромик встретил нас потухшим взглядом.

– Что ты, витязь мой, не весел, что ты голову повесил? – приветствовал я товарища знакомыми с детства строчками. Которые товарищ наверняка не узнал, так как в детстве вместо того, чтобы слушать хрестоматийные стихи перед сном, рассматривал либо устройство полупроводникового транзистора, либо иллюстрированный атлас двигателя внутреннего сгорания. Тем не менее он мрачно откликнулся:

– Сейчас замдекана встретил. Он заявил, что ему с кафедры на меня жаловались.

– С какой кафедры? – спросил Леха.

– Да с АСУ.

– Где ты подрабатываешь? – уточнил Леха.

– Ну да. Чего жалуются, понятия не имею. Если и недовольны чем-то, не могли, что ли, мне напрямую сказать. Зачем деканат подключать? Странно как-то. Ничего не понимаю. Чего они на меня наехать решили?

– Так сходи узнай, – нашел я выход.

– Да, надо бы, – неуверенно согласился Ромик.

– Хочешь, мы с тобой сходим? Заступимся, если надо будет, в обиду не дадим, – предложил я.

– Давай, – вздохнул Ромик. – Когда?

– Да хоть сейчас, – ответил я, и мы втроем двинулись на кафедру.

Доцента Смирницкого Николая Константиновича, на которого Ромик пахал со всей своей интеллектуальной натугой, ждать пришлось минут десять, но мы терпеливые, мы дождались.

Наконец доцент влетел в кабинет и быстрым, демонстративно отчужденным взглядом смерил своего поникшего ассистента, а нас с Лехой даже кивком не удостоил.

– Заславский, – произнес он строгим, как и взгляд, голосом, – тут относительно вас вопрос возник. – Он выдержал преподавательскую паузу. – У нас специалисты вашу последнюю программу посмотрели, и у них возникло сомнение в том, что вы ее сами написали.

Из всех возможных наездов этот был самым неожиданным.

– А кто же ее написал, если не я? – спросил сбитый с толку Ромик.

– Вот это мы и собираемся выяснить, – расплывчато ответил подозрительный доцент. – Вы бы сами не справились. Слишком сложная задача для студента. К тому же программа называется «Джулия». И есть люди, которые считают, что вы до такого бы не додумались. Никто так программы не называет.

Большой бред и придумать было невозможно.

– Николай Константинович, – вмешался я. – Конечно, это он ее написал. Я сам видел, я у него дома вчера был, он при мне сидел и писал. А Джулия, то есть Юля, это его девушка. Вот он ее именем программу и назвал. По-моему, вполне уместно.

Я, кстати, у Смирникова тоже когда-то подрабатывал, тоже программы ему составлял. Но надолго меня не хватило, месяца на два, не больше, а потом отвлекли иные, совсем незапрограммированные заботы.

– А вы что, адвокатом к Заславскому нанялись? – обернулся на мой назойливый коментарий писк доцент. И так его голос резко прозвучал, так угрожающе, что я осекся. – Роман, появилось подозрение, что за вас кто-то программы пишет, а вы деньги получаете, – еще сильнее ошарашил нас Смирницкий.

Обвинение было совершенно безосновательное, но именно безосновательность придала ему нехороший, тяжелый душок.

– Кроме того, выяснилось, что вы работаете не только у нас, но и на кафедре дискретных сигналов. А это, Роман, серьезное нарушение. Есть люди, которые относятся к двойному вашему трудоустройству крайне негативно.

Он уже второй раз упомянул о каких-то «людях».

«Надо же, какие ревнивые», – заметил я, но на сей раз про себя.

– В общем, принято решение трудовой договор с вами немедленно расторгнуть. Вы, конечно, человек способный, – здесь тон Смирницкого немного смягчился. – Но мы должны реагировать на сигналы. Для вашего же блага. – Доцент задумался, подбирая слова, видно было, что он в сомнениях. – Потому что есть люди, которым все это очень не нравится.

– Что не нравится? – Первый шок у Ромика прошел, и его сменило раздражение.

– Что вы на двух кафедрах работаете. Что программы за вас кто-то пишет. – Голос доцента снова набирал уверенность и силу. – Вы, Заславский, еще студент, а зарабатываете больше некоторых преподавателей. Вы поняли?

Ромик ничего не ответил. Даже не попрощавшись, он повернулся и вышел за дверь. А мы с Лехой за ним.

– Да пошли они. – процедил Ромик в сердцах. – Тоже мне, нашли идиота. Я на них пахал, как папа Карло, за какую-то сороковку в месяц. А они, суки. Видите ли, программу не так назвал. Сами ничего толкового придумать не могут. Тоже напугали, кретины, договор они расторгнут. Да я этот их договор видал... вместе с их деньгами. Я на машинах в пять раз больше зарабатываю.

Тут Леха потянул меня за рукав, и мы с ним чуть поотстали. Ромик даже и не заметил, он энергично двигался вперед и энергично материл доцента вместе со всей его кафедрой и всеми трудовыми договорами.

– Слушай, а кого это Смирницкий имел в виду? – Леха остановился. Пришлось остановиться и мне.

– Чего? – не понял я.

– Ну, когда говорил, что есть люди. Он ведь несколько раз повторил, что есть люди, которые Ромиком не довольны. Мне кажется, он специально повторял. Вроде как предупреждал.

Я подумал и согласился:

– Действительно, о ком это он?

– Что-то мне это не нравится, – произнес Леха задумчиво. – Совсем не нравится. Как бы над Ромиком чего-нибудь не нависло.

– Да ладно, может, и обойдется. В принципе ведь полная ерунда, – оптимистично заметил я.

– Может, и обойдется, – кивнул Леха, но вяло, без энтузиазма.

Впрочем, так уж мы были тогда удачно устроены, что не поддавались давящему негативу. А если и поддавались, то он недолго тревожил наше затуманенное легкомыслием сознание. Так уж мы были устроены.

Вот и взметнувшийся над Ромиком столп темного дыма с тяжелым, удушливым запахом быстро развеялся в свежем зимнем воздухе, не оставив и следа. Мы догнали Ромика и

вскоре все вместе, дружной шеренгой вошли в аудиторию E204, где нас уже нетерпеливо поджидали четыре наши сокурсницы.

Дело в том, что уже давно мы вошли с сокурсницами в ненормативные, не оправдываемые ни деканатом, ни комитетом комсомола отношения – педантичные девушки терпеливо высиживали все лекции, каллиграфическим почерком записывая за преподавателем слова, формулы, графики и диаграммы. Иными словами, вели доскональные, максимально полные конспекты. Мы же их не вели по той простой причине, что на лекциях не присутствовали.

С Лехой все было понятно – он выбирал более познавательные биологические занятия в универе. Ромик тоже был при деле – деньги ковал, как мог, своими мозгами и руками. А я. Ну, не сидеть же на лекциях одному? К тому же я не любил рано просыпаться, да и вообще неплохо умел занять себя и помимо лекций.

Поэтому к началу сессии мы порой с удивлением узнавали, какие, оказывается, занятые науки нам преподавали за прошедший семестр. И узнавали именно из конспектов наших трудолюбивых подруг где-то за неделю-две до начала сессии.

Вот тогда и начиналась работа. По двадцать часов в сутки, движимые азартным желанием постичь за несколько дней четырехмесячную программу, мы осваивали науки на достаточном для сдачи экзаменов уровне. Ну, это мы с Лехой. А Ромик осваивал их на уровне недостижимом, повторю, у него на технические новшества с детства обостренная интуиция развилась.

А за два-три дня до экзамена наступал второй этап нашего сговора с каллиграфическими девушками – групповой. Девушки резервировали аудиторию, и мы с Ромиком рассказывали и объясняли им все, что успели выудить из их конспектов. То есть объяснял в основном Ромик, а я был на подхвате – если он в этот день был занят ковкой презренного металла или, скажем, примитивно простужен, тогда я тоже мог провести неформальный семинар.

При этом объясняли мы по возможности доходчиво, доступно, не как на длинных занудных лекциях, так что девушки начинали врубаться в хитрые электронные науки, и у них появлялась возможность отстреляться на предстоящем экзаменационном стрельбище. Впрочем, отстреливались не все и не всегда, некоторые мазали, лепили, как говорится, в молоко, и тогда в каникулы мы с Ромиком проводили дополнительные занятия, подтягивая отстающих к ближайшей пересдаче.

Иными словами, мы становились кем-то вроде «тимуровцев», разве что ведомы были не революционной идеологией или курирующей вышестоящей организацией, а естественным для нормальных людей принципом взаимовыручки.

Сейчас нас ждали четыре завалившие очередной экзамен подруги, ну и Леха добавился, он вообще экзамен пропустил, так как именно в тот день сдавал другой в универе. Мы вошли, поздоровались, кого-то даже чмокнули в щечку. Но без трепета и вожделения чмокнули, скорее по-дружески, по привычке. Впрочем, когда губы каждого из нас коснулись ароматной глянцевої щечки Анечки Лапиной, трепет все же пробежал по нашим юношеским чреслам.

Ах, Анечка, Анечка, кто не был влюблен в нее! И Ромик был, и поначалу даже волочился за ней, даже целовался на полутемных вечеринках, даже руки небось шалили и добирались до того, до чего Анечка допускала. Потому что, несмотря на все свое кокетство, Анечка оказалась на поверку девушкой строгой и допускала только до того, до чего намеревалась в данный момент допустить.

Видеть ее среди заваливших экзамен было непривычно – не потому, что она отличалась особой изошренностью в технических науках, а потому что вводила преподавателей-мужчин (а сдавала она экзамены исключительно представителям сильной и глупой половины преподавательского состава) в необычайно благодушное настроение. Такое благодушное,

находясь в котором мужская рука не была способна вывести в Анечкиной зачетке несимпатичный «неуд».

– Анютик, – задал я ей законный вопрос, – а ты тут чего делаешь? Неужто твои чары утратили колдовскую силу?

Анечка широко раскрыла свои и без того огромные ярко-зеленые глаза, взмахнула длинными, тщательно подкрашенными ресницами и призналась красивым, глубоким, от природы и от привычки чувственным голосом:

– Оплошала. Постников оказался непробиваем.

Старший преподаватель Постников вообще-то имел репутацию отличного парня. Он не отслеживал мелочно посещаемость своих лекций, интересовался не формальной дисциплиной, а глубиной знаний и нестандартностью мышления. К тому же он держался с нами на равных, мог пошутить, иногда даже анекдот какой-нибудь смешной рассказать, да и сам любил заразительно и искренне посмеяться. На губах у него постоянно играла легкая ироничная улыбка – иными словами, Постников производил впечатление умного и симпатичного человека. Было ему лет тридцать, не больше, вполне активный мужской возраст, и тот факт, что Анечкино обаяние на него не подействовало, нас несказанно удивил.

– Давай, Анютик, – потребовал Леха, – рассказывай.

Она как раз протискивала свою восхитительную фигурку между длинной партой и такой же длинной скамейкой, фигурка была невысокая, очень правильно сконструированная, настолько правильно, что дух захватывало. Мало обладать от рождения удачной статью, важнее эту статью уметь преподнести – в каждом движении, в повороте головы, в поступи, в жесте. Не говоря уже о взгляде, улыбке и прочей мимике. Так вот всеми этими ухищрениями Анечка владела головокружительно, в полном, абсолютном совершенстве.

Наконец она уселась, неторопливо положила перед собой тетрадь, ручку, подняла на Леху свои зеленоватые, трясинные глазища.

– Да он какой-то малахольный оказался, – пожаловалась Анечка на Постникова. – Ничем его не проймешь. Я, как всегда, надела свою экзаменационную униформу. Ну, вы видели, белая кофточка с вырезом вот здесь, – она очертила плавным, томительным, завораживающим движением линию где-то на уровне груди, – юбка короткая, сапожки замшевые до колен. Что я под кофточку надеваю, говорить не буду. Тут главное наклониться правильно, чтобы край оттопырился, но лишь слегка, и чтобы взгляд собеседника проникал, но до определенного предела. В этом пределе вся хитрость, главное – его правильно рассчитать.

Тут я заметил, что Ромик, несмотря на наличие постоянной двухлетней подруги, взволнованно сглотнул. Вот ведь как – даже здесь, сейчас, перед нами, давно уже привычными и примелькавшимися сокурсниками, Анюта не могла подавить свой природный обольстительный инстинкт и заставляла нас сглатывать. Впрочем, как всегда, впустую.

– В общем, когда подошла моя очередь отвечать, подсаживаюсь я к нему поближе, кладу ногу на ногу, чтобы юбка приподнялась до разумного уровня, ссутуливаюсь немного, чтобы грудь стола касалась... – Тут уже сглотнул не только Ромик, но даже менее чувствительный Леха. – ...раскладываю перед Постниковым экзаменационные листочки, сама к нему придвигаюсь, чтобы он не только мой голос услышал, но и аромат духов, и начинаю что-то рассказывать, что-то там про усилители. Негромко рассказываю, чтобы он только голос слышал, а слов особенно не различал. Потому что не в словах вообще-то дело. Ну, вы же знаете, этот прием всегда срабатывал, потому что они, то есть вы, – она стрельнула глазищами в нас троих, – под воздействием аромата, голоса и всяких остальных видений сутью вещей перестаете интересоваться.

Мы дружно закивали: мол, кому эта суть нужна, когда вокруг тебя одни сплошные видения.

– Так вот, плету я ему что-то про «положительную обратную связь», «отрицательную связь», я эти слова где-то в тетрадке видела, и минуты через три-четыре смолкаю, давая понять, что хватит, – удовольствие получил, ставь тройку, пора спектакль заканчивать.

Анюта выдержала паузу, и мы поняли, что в истории сейчас наступит незапланированный поворот.

– Постников ко мне наклоняется, – продолжала Анечка, хлопая занавесками-ресницами, – близко-близко, так близко, что даже неприлично стало, и шепчет сбивающимся на хрип шепотом: «Аня, а что вы сегодня вечером делаете?» – и тянет к себе зачетку. «Ну, думаю, влипла. Неужели ради тройки с ним еще и встречаться придется?» Но деваться-то некуда, и я отвечаю, тоже приглушенно и тоже немного взволнованно: «Кажется, я сегодня вечером как раз свободна».

От Анютиного голоса с взволнованным, как и обещано, придыханием дернулись не только кадьки Ромика и Лехи, но теперь уже и мой собственный.

– Постников отрывает взгляд от моего выреза, смотрит на меня сразу очистившимся, незамутненным взором. «Свободны, значит. Вот и поучите!» – произносит он неожиданно отчетливо. И выводит мне в зачетке жирный банан.

И Анечка первая откинулась на жесткую деревянную спинку скамейки и начала смеяться своим волнующим голосом, а мы все, собравшиеся в комнате, бросились догонять вразнобой ее зажигательный смех.

– Неужели так и сказал? – заливался Ромик. – Во, молодец, парень! Во, отмочил!

– А мне кажется, я такую историю уже где-то слышал, – первым остыл Леха. – Может, Постников и не сам ее придумал.

– Да ладно, – замахал рукой Ромик, смахивая слезы, – не важно, кто придумал, важно, кто ее вовремя применил.

– Надо же, смелым оказался этот Постников. И принципиальным, – покачивал я в неведении головой.

– Да брось ты, принципиальный. Просто схохмить решил, – высказал свою версию Леха.

Так или иначе, но нам пора было приступать к ни кем не санкционированному «семинару». И мы приступили.

Два с половиной часа пролетели быстро. Когда не халтуришь и отдаешь себя делу без остатка, с энтузиазмом, да когда еще и дело благородное, время пуляет минутами, словно плотной автоматной очередью – только успевай уворачиваться.

За окном уже основательно стемнело, город погрузился в свет фонарей, в свет желтеющих окон соседних домов да в суетливый, мечущийся свет автомобильных фар.

Наши семинаристки устали и, похоже, уже не слишком проникались всякими замкнутыми и разомкнутыми цепями. Один лишь выносливый Леха продолжал задавать вопросы, требуя от нас легких, халявных знаний. Наконец и он притих, а значит, занятие подошло к плодотворному концу.

– Ну что, девушки, всем вам удачи. Если ближе к ночи появятся вопросы, звоните, – заключил Ромик.

Потом мы все вместе, веселой гурьбой спустились по широкой мраморной лестнице в вестибюль, получили из гардероба свою верхнюю одежду, помогли однокурсницам засунуть ручки в утепленные рукава и вот уже снова оказались на январской, морозной улице, именно той, которую покинули приблизительно часа три назад. Только теперь она была вечерней и темной.

Но дальше наши пути с однокурсницами расходились, потому что их путь вел к троллейбусной остановке, а наш – туда, где был запаркован «Запорожец» Ромика. В который, увы, помещались как раз три, максимум три с половиной взрослых человеческих тела.

Пока агрегат заводился и разогревался, Ромик его тихо материл:

– Ну, какому идиоту пришло в голову мотор сзади, в багажнике, разместить.

– А что тут плохого? – в основном ради поддержания разговора поинтересовался я.

– Да это все равно что человеку сердце в жопу засунуть. Да так, чтобы оно там ритмично стучало, – доходчиво объяснил Ромик. – Вон, у Лехи спроси, есть в природе жизнеспособный организм с сердцем в жопе? Леха, есть такой организм?

– Кто ж ее, эту природу, знает. Она на все способна, – ушел от прямого ответа Леха, поживаясь на заднем сиденье. Во-первых, у него и курточка была полегче, да и тепло от печки до заднего сиденья с трудом доходило.

– Оттого и салон греется хреново, что мотор сзади расположен, – продолжал брюзжать хозяин автотачки. – Наши умельцы, видать, соригинальничать решили, главное, чтобы не так, как у всех. «Левши» долбаные.

Он натянул вязаную шапочку на голову, снял запотевшие от мороза очки, протер и продолжил:

– У этой керосинки вообще каждая деталь с дефектом. В принципе тут само по себе вообще ничего работать не должно. Но эти хреновы изобретатели на каждый дефект придумали другую деталь, которая этот дефект нейтрализует. Не устраняет, а нейтрализует. Но новая деталь сама с дефектом, и для нее придумана еще одна деталь, которая тоже должна дефект нейтрализовать. Но и она с дефектом, и ей тоже нейтрализация нужна. И вот такой друг друга устраняющей железной трухой вся машина и набита.

– Тогда получается, – сообразил я, – что если дефект в первой детали устранить, то от многих железок вообще можно избавиться?

– А ты думаешь, чего я с этой тачкой полгода возился? – проговорил Ромик, медленно выкруливая на середину автомобильной мостовой. – Да она у меня в полтора раза полегчала. Вот, скажи, Лех, есть ли в природе у какого-нибудь организма ненужная деталь?

– Природа, она многообразна, – снова философски заметил Леха, начиная мелко подрагивать на заднем сиденье. – Ты бы вместо того, чтобы автомобильную промышленность совершенствовать, лучше бы пледик какой-нибудь завел. Извозчики, знаешь, в прошлые века всегда с собой пледики имели.

– Извозчикам платили, а я совершенно безвозмездно, – находчиво нашелся наш водитель и добавил: – Более того, я вас сейчас отвезу туда, где вам самим заплатят.

Тут мы с Лехой подались к нему поближе, нам сразу захотелось в то место, где нам заплатят. Мы ведь знали, что Ромик такими словами, как «заплатить», впустую не бросается.

– В общем, халтура одна есть, – пояснил он. – Сегодня одна тетка позвонила, кто-то меня ей порекомендовал. Она какая-то начальница в продуктовом магазине. Ну, сами понимаете. – Мы не ответили, мы понимали. – Так вот, у нее в квартире надо сортир покрасить и унитаз поменять. Унитаз она уже приобрела, краску тоже, дело за рабочей силой. Рабочая сила – это мы. Я – квалифицированная, вы – неквалифицированная.

– Да мы запросто наквалифицируемся, – заверил я бригадира.

– Не напрягайтесь, вы и так сойдете, – махнул рукой Ромик. – Значит, слушайте, квартира на Баррикадной. В полшестого мы там, на работу отводится два с половиной часа, к восьми закончим. Думаю, шесть червонцев сорвем, значит, каждому по двадцатке.

– Тебе больше полагается, – проявил благородство с заднего сиденья сильно подмерзший Леха.

– Да брось ты, Лех, – с не меньшим благородством пожал плечами Ромик.

Тем, кому в советские времена взрослой жизнью пожить не удалось, сообщу: двадцать рублей были вполне приличные деньги – половина студенческой стипендии, пятая часть зарплаты инженера. А тут за два с половиной часа. Какой рукастый студент отказался бы от такого? Даже безрукий не отказался бы.

Когда мы подъехали к дому на Баррикадной, Ромик достал из багажника (который в «Запорожце» находится там, где у нормальных машин находится двигатель) большую сумку, извлек из нее драный, замаранный свитер, холщовые, тоже замаранные штаны и потрепанную телогрейку. Пока он снимал с себя недешевую импортную одежду, складывал ее аккуратно на сиденье, он пояснял нам наставительным голосом:

– Главное, в клиенте устоявшиеся стереотипы не менять. Например, у нас как, если мастер не пьет, то он не мастер. И выражаться он должен фольклорно, а то кто ж ему поверит. И одет должен быть соответственно. Ведь как испокон веков говорят: «Выпивает он, конечно, сильно, зато руки золотые». Вспомните хотя бы народного Левшу.

Мы с Лехой вспомнили, засуетились, занервничали.

– Так у нас с собой телогреек нет. Мы ж не знали. Знали бы, прихватили.

– Не волнуйтесь, разберемся. Я ваш бригадир, вы – моя бригада, главное, молчите и ни о биологии, ни о литературе свои интеллигентские соображения не высказывайте.

Мы согласно кивнули – за двадцатку мы готовы были два часа и помолчать.

Тетка, открывшая нам дверь, действительно выглядела на зав. отдела гастронома – слишком она оказалась типичной, большая по размеру, с выдающимся бюстом, не слишком опрятная, в общем, полностью соответствовала типу.

– Зин, ну чего, где участок-то? – с порога перешел к делу бригадир и, не мешкая, прошел в коридор.

Хозяйка пристально окинула его взглядом – усталые, немного красноватые глаза, потрепанная телогрейка, прорванная на локтях, чуть ссутулившаяся фигура. Потом вслушалась в сиплый, подбитый хрипотцой голос и сразу же поверила в созданный Ромиком образ. Зато когда разглядела нас с Лехой, молчаливо жавшихся позади, у нее сразу возникли сомнения:

– Чего-то дружки твои не очень на работяг похожи, – поделилась она сомнением с бригадиром. – Больше на студентов каких-нибудь смахивают.

– Дак они и есть студенты, – заверил ее честный бригадир. – Вот он, – указал Ромик на меня, – в Строгановке по живописи заканчивает. Так что покрасит твой, Зин, сортир как полотно, на самом высоком художественном уровне. А этот, – он указал на Леху, – в той же Строгановке, только на скульптурном. Все тебе вылепит и преобразует, если чего нужно, в трехмерном пространстве. – Ромик настолько вошел в образ, что слово «трехмерном» выговаривал минуты две, ну никак оно у него не выходило в один присест. – Ну а я сам трубами займусь, я ж по сантехнике, Зин.

Так за разговором мы подошли непосредственно к рабочему участку, в смысле, к сортиру. Ромик оглядел фронт работ, стянул с головы вязаную шапочку, почесал в затылке.

– Да-а, хозяйка, я думал, работы меньше будет. Мы с тобой на сколько, на шестьдесят договаривались? – Тетка кивнула. – Прибавить придется. – Даже в полумраке коридора мы заметили, как торговый руководитель напряглась всем своим натренированным на торговле телом. – Две поллитры еще придется поставить. – При слове «пол-литры» хозяйка тут же распряглась.

– Так это само собой. У меня давно все припасено, – затараторила она с облегчением. – Если вам требуется сейчас принять по сто грамм, так пожалуйста.

– Нельзя, – отрезал бригадир, – у нас дисциплина, перед работой не употребляем. А то у этих в Строгановке, знаешь, как хлещут, шибче, чем у нас в управлении.

Я хотел было спросить, в каком именно «управлении», но вовремя осекся.

– Так что не положено им перед работой. Опосля они за милую душу примут. А покамест нельзя.

Я заметил, как Зина с уважением посмотрела не только на строгого бригадира, но теперь в первый раз и на его высокохудожественных мастеров.

– А вот перекус ты, Зинаида, нам сваргань, – продолжал сантехник. – Мы через пару часов перекур устроим, тогда и хватим чего-нибудь.

– Конечно, конечно, – обрадовалась хозяйка и заспешила с одного рабочего участка (сортира) на другой рабочий участок (кухню).

Первым делом Ромик включил переносной магнитофон «Электроника», который надрывно запел голосом Аллы Борисовны.

– Это чтоб она нас не слышала. Чтоб мы спокойно говорить могли, – пояснил он нам своим нормальным голосом теперь уже без всякой сипоты и хрипотцы.

Затем открыл чемоданчик, где к одной стенке были аккуратно прикреплены разные большие и малые кисти, валики, шкурки для них лежали в отдельном отсеке, как маленькие, впавшие в зимнюю спячку животные. В другую стенку чемодана были вмонтированы сантехнические инструменты – ключи, разводные и неразводные, всякие другие железки, названия которых я учил на уроке труда в школе, но теперь забыл.

– В общем, план такой. Ты, Толик, красишь одну стенку, а ты, Лех, другую. Дело нехитрое, углы проходишь кистью, а плоскость закатываете валиком.

– Я же скульптор, – тут же возмутился Леха, – ты мне объем дай, я по плоскости закатывать не желаю.

– Ничего, закатаешь, – ободрил его Ромик. – Объем мы потом получим, после работы. Сам слышал про поллитру.

И работа закипела. Сортир был достаточно просторный, старой, еще сталинской постройки, но все равно мы с Лехой почти упирались друг в друга – спиной, как говорится, к спине. А Ромик тем временем разбирал старый, подержанный унитаз, склонившись перед ним, как буддист перед буддистским своим божеством.

Для тех, кому никогда красить сортиры не приходилось, особенно масляной краской, особенно при крайне слабой вентиляции, сообщу, что работа эта хоть и утомительная, но не без кайфа. Через полчаса голова начинает пухнуть, надыхавшись масляных испарений, через час тебе уже все безразлично, лишь бы плотнуть ртом свежего воздуха. А через полтора часа уже и воздуха не обязательно, и так хорошо – все плывет, растекается в помягчавших мозгах, не только крашенная поверхность, которую ты заботливо утрамбовываешь валиком, но и тяжелый, пронизанный едким токсином воздух. А в нем застывшая на карачках в специфически сантехнической позе, напряженная фигура бригадира.

Когда все плоскости в результате оказались покрашены и закатаны в густой, традиционно сортирный салатный цвет, Ромик отогнал нас от приросших к нам стенок и, взяв самую маленькую кисточку, стал у потолка рисовать пограничную между краской и побелкой черту. И так у него справно получалось, так ровненько, аккуратно, что мы с Лехой переглянулись – надо же, сколько у парня талантов.

– Сноровка, она и в сортире сноровка, – самодовольно заметил из-под потолка бригадир.

Потом, когда он закончил и спустился к нам, слегка пошатываясь, перенасыщенный масляными парами, оказалось, что дел осталось-то всего ничего – установить новый, не использованный никем унитаз, с учетом того, что место из-под старого сантехник уже умело освободил.

– Значит, слушайте, ребята, – сообщил нам Ромик; мы его вроде как и слышали, и видели, но все равно он немного колыхался перед глазами. – Унитаз большой, тяжелый.

Берете его с двух сторон и аккуратно заносите вот на это место. – Ромик указал на место. – Видите штырьки? Так вот они должны попасть в эти дырки. Видите дырки? – Штырьки и дырки мы вроде бы тоже видели. Хотя и они колыхались в промасленном, продурманенном воздухе. – А я буду вас направлять. Главное, осторожно несите, не уроните, вещь хоть и тяжелая, но хрупкая, – наставлял нас Ромик, но мы только отмахнулись: мол, не настолько мы надышались, чтобы простых вещей не понимать.

– Да ладно, охлынь, – попросил бригадира скульптор Леха. – Тоже мне, Венера Милосская, – кивнул он на керамическое изделие.

– Той, между прочим, руки все же пообломали, – проявил неожиданную эрудицию сантехник. – Так что вы уж повнимательнее, ладно.

И работа закипела снова, хоть и медленно закипела, осторожно.

Керамическая штукovina действительно оказалась увесистой, видимо, много керамики в нее засобачили. Мы с Лехой мелкими, немного нетвердыми шажками подтаскивали унитаз к приготовленным для него штырькам, Ромик командовал: «Правее, левее, выше, ниже», Алла Борисовна из магнитофона заливалась про «восьмой ряд и то же место», масляная краска продолжала испаряться с посвежевших стен прямо в наши разгоряченные, пронаркоманенные мозги.

Мы уже поднесли керамическую тяжесть к самому необходимому месту, уже нащупывали днищем торчащие наружу штырьки, Ромик уже примеривался, как бы прочнее пригвоздить ее верным шурупом. Но тут что-то произошло – то ли Леха оступился, то ли я, то ли мы оба одновременно. А может, неуклюже торчащий бачок перевесил и сбил нас с толку. Только не донесли мы унитаза до штырьков, выскользнул он предательской керамикой из наших с Лехой цепких рук и шлепнулся мимо штырьков на плиточный, безразличный ко всему пол.

Сначала мы с Лехой искренне изумились – надо же, не удержали! А ведь казалось, что удержим! Просто уверены были, что удержим! Потом, когда первый шок прошел, стали осматривать керамическую бандуру, аварийно приземлившуюся мимо посадочной полосы. И оказалось, что ничего страшного не произошло – как был унитаз, так унитазом и остался, ничего в его структуре особенно не изменилось.

И лишь после, когда стали приглядываться внимательнее уже не только к общей по-прежнему целостной конструкции, но и к мелочным деталям, выяснилось, что одна деталь все же неудачно повредилась. Внутри унитаза, вдоль самой его рабочей поверхности пробежала мелкая, едва заметная, но длинная серенькая ниточка – почти от самого верха до почти самого низа. Трещина, одним словом. Мы бы с Лехой ее и не заметили – темновато было в сортире от одинокой лампочки. К тому же плохо размешанный в темноте электрический свет вяз и вспучивался пузырями и в наших передозированных мозгах, и в сужающемся, пугающем, как в фильме ужасов, горлышке сюрного агрегата. В которое мы вообще не очень-то стремились заглядывать. А вот очкастый Ромик как раз туда заглянул, в глубокое, засасывающее нутро, и длительное время тщательно его исследовал.

Что он потом про нас минут десять говорил – Алла Борисовна его эмоциональности могла бы позавидовать, хотя тембром голоса Ромику, конечно, было до нее далеко. В общем, выдал нам бригадир по полной, таким сквернословием занялся, таким чрезмерным – из всего многоступенчатого лексикона слово «мудаки» было самым легковесным.

Так он ругался, ругался, но, в конце концов, то ли ему надоело, то ли словарный запас истощился. И правда, ну что у него имелось в заглашнике, кроме слов? Ничего не имелось, никакого другого воздействия. А к словам мы с Лехой были ребята привычные. К тому же словом, как известно, делу (читай, унитазу) не поможешь. Вот и замолчал наконец Ромик, лишь вяло почесывал затылок.

– Ну и чего теперь делать? – пробормотал задумчиво он.

– Может, она не заметит? – стал вяло фантазировать Леха. Я уцепился за простую мысль.

– А давайте лампочку заменим. Поменяем на слабенькую, в двадцать ватт, чтобы совсем тускло стало. Тогда она точно не заметит, трещинка же тоненькая.

– А если она помощнее лампочку вкрутит? – усомнился Леха.

– Не сегодня же она ее вкрутит, а завтра-послезавтра. Мы к тому времени успеем далеко уйти отсюда, растворимся в большом, многомиллионном городе. Да и вообще у нас аргумент будет – может, она сама за два дня трещину в новом унитазе проделала. Ну, в смысле, треснул он под ней. Под ней, кстати, не только керамика запросто может затрещать.

– А что, – согласился Леха, – отличная мысль. Главное, ей работу сдать, бутылки забрать вместе с деньгами да свалить отсюда.

Получалось, что мы с Лехой легко соглашаемся друг с другом, вот только Ромик с нами не соглашался. Он стоял, молчал, заглядывал обреченно в нутро унитаза, на протянувшуюся в нем серую ниточку, и ничего не говорил. А затем все же сказал:

– Мудаки вы оба, – снова употребил он по отношению к нам плохое слово, а за ним еще вереницу. – И чего я с вами связался? Знал ведь, что уроните, что все равно, так или иначе, навредите.

– Да не убивайся ты так, – начал успокаивать его сердобольный Леха. – Да она ничего не заметит, трещинка маленькая, ее и не видно совсем.

Но Ромик только качал головой. А потом все же не выдержал:

– Вы чего, притворяетесь?! Издеваетесь надо мной или на самом деле не соображаете?

Тут мы развели руками, мол, нет, совсем не издеваемся. А в чем, собственно, дело?

– Так потечет же он, как только она воду спустит. А может быть, еще раньше! Думаете, она лужу на полу тоже не заметит?

Тут до нас, конечно, дошло. В смысле, до меня дошло, про Леху не знаю, до конца не уверен. И понял я, что унитазное наше дело, если выражаться о нем по-немецки, – «швах».

– А другого унитаза у нее нет? – задал я контрольный вопрос.

Но Ромик только посмотрел на меня, и в его взгляде, несмотря на тусклый свет, я различил остервенение.

– Ну что, если нельзя поменять, значит, надо починить, – двинул вперед логическую цепочку Леха.

– Как ты его починишь? Придунок. – набросился на него вконец озверевший бригадир. Не знаю, что его больше выводило из равновесия: улетучивающаяся на глазах двадцатка или же подмоченная прямо здесь, в сортире, рабочая честь.

– Ну, заделать как-то, – пробурчал обидевшийся на «придурика» Леха.

– Заделать. – передразнил его Ромик. – Тебе самому кое-что заделать надо. – И он еще минуту-другую перечислял, что именно он не против был бы заделать у Лехи в его биологическом организме.

– Может, склеить как-то, – принял я огонь на себя.

– Еще один придунок, – не замедлил перекинуться на меня огонь. – Чем склеить, как?

– А чего, клея для унитаза нет, что ли? – снова подал голос Леха.

Ромик лишь плюнул в ответ прямо на кафельный сортирный пол, я его таким разъяренным и не видел никогда, даже не подозревал, что он способен впасть в подобное неистовство.

– А если цементом схватить? – предложил я другой вариант. – Цемент, он вообще керамику держит?

Наступила долгая немая пауза, в течение которой Ромик, видимо, немного поостыл. Во всяком случае, кричать и бросаться на нас он перестал.

– Цемент керамику, наверное, держит, – предположил он задумчивым, но полным депрессивной тоски голосом.

– Ну, замажем мы цементом, протекать, наверное, не будет. Но представляешь, как заметно станет. Черная полоса через весь унитаз. Она ж новый хотела, а не расколотый. – Он кивнул в сторону кухни, где возилась расторопная, хлопотливая хозяйка.

– Да, видно будет отчетливо, – согласился я.

– Да, – вздохнул вслед за мной Леха.

И мы снова замолчали, и каждый из нас обреченно подумал, что ситуация складывается мрачная и безысходная, и похоже, другого выхода, как идти сдаваться с повинной хозяйке Зине, у нас нет.

Но говорил ли я, что все это время мы так и продолжали стоять в самой глубине туалетной комнаты, стены которой были покрыты толстым слоем сырой масляной краски. А значит, все это время мы вдыхали ее тяжелые, вызывающие мелкие глюки испарения. И видимо, эти глюки, как в разрозненном пазле, из неровных, обгрызанных осколков составили в моей голове пусть и абстрактную, но не такую уж нелепую картинку. Я увидел цветок, что-то вроде розочки с длинным изящным, изогнутым стебельком, с аккуратным полураскрытым бутончиком, с красивыми, нежными лепестками.

Видно, недаром некоторые люди искусства, всякие рок-музыканты или поэты-авангардисты (ведь ходят про них подобные слухи) прибегают иногда к наркотическим средствам. Масляную краску они, думаю, вряд ли нюхают, применяют что-нибудь подороже и более технологичное, но в любом случае стимулируют свой творческий потенциал.

Вот и мой творческий потенциал простимулировался и выдал аккуратную розочку, вылепленную из цемента на самом дне керамического унитаза.

– Слушай, – в возбуждении схватил я Ромика за рукав рваного, измазанного краской свитера. – Мы ж из Строгановки. Ну, мы с Лехой, ты ж ей сам нас так представил, – я ткнул пальцем в сторону кухни. – Давай, мы ей из цемента цветочек внизу слепим. А стебелек как раз вдоль трещины пустим. Скажем, что нам творчество покоя не дает, скажем, что не могли мы не улучшить общую сортирную эстетику истинным искусством. Вот такая цементная фреска на дне унитаза. Скажем, что это вообще мода сейчас такая на Западе, и хотя мы обычно ничего подобного не делаем, но здесь ради нее. Розочку, например, можно вылепить. И эстетично и практично. В смысле, трещину прикроем.

Я говорил порывисто, с воодушевлением, и похоже, моя творческая глюка хоть как-то, но перенеслась в технического, вяло реагирующего на наркотическую дурь Ромика. Он задумался и даже рукав свитера не стал вырывать из моих судорожно сжатых пальцев.

– Черная цементная розочка. – наконец произнес он с сомнением, в котором все же слабо забрезжила надежда.

– Так ее раскрасить можно, – внес Леха лепту в план нашего общего спасения.

– Я раскрашу, – вызвался я. – Я же из Строгановки, я же живописец. Ты вообще мои работы видел? Для меня цветок раскрасить – просто тьфу, плевое дело. Только в салатный цвет неохота. Хотелось бы поярче, так мне мой художественный вкус подсказывает.

– Вообще-то у меня есть в машине какая-то краска, желтая вроде. Да и цемента немного есть, – начал согласовывать Ромик наши творческие планы с реальным сортирным проектом.

– Ну, чего, давай я к машине сгоняю? – предложил Леха. – Слепим розочку, закрасим, и все будет в ажуре.

– А сможете?

– А то. – развел Леха руками, развеивая последние сомнения бригадира.

Пока Леха бегал к машине, я продолжал напряженно думать. Алла Борисовна уже три раза отмотала кассету, но мы ее любили, поставили по четвертому заходу.

– Слушай, – наконец промолвил я. – Не получится, наверное, розочка. Сложный слишком цветок. Ну как мы полураскрывшийся бутон изготовим? Даже Леха со своим скульптурным образованием не справится. К тому же у тебя только желтая краска. А желтое не очень

к розочке подходит. Давай лучше ромашку изобразим. Полевой цветок, простой, неброский, но сколько в нем чистой, непорочной эстетики. Как раз на дно унитаза сгодится.

– Да делайте что хотите, – махнул рукой Ромик и вышел из сортира. Видно, масляных паров даже ему хватило с избытком.

И снова работа закипела. Цемент оказался, конечно, не скульптурной глиной, даже не пластилином, но мы с Лехой все же кое-как ромашку смастерили – я же говорю: простой цветок, без выпендрежа, – лепестки, тычинки посередине, ну и главное, стебелек, конечно, даже пару листочков приделали – для них как раз салатная краска хоть и с натяжкой, но подошла.

В общем, получилось как на детсадовском рисунке, незамысловато, но искренне, даже трогательно. А главное, мы работали с воодушевлением и внутренним задором, можно сказать, не жалея себя.

– Ну чего, может, подпись внизу поставим? – предложил совсем зарвавшийся Леха. Мы, конечно, посмеялись, настроение у нас, ясное дело, заметно улучшилось, но от идеи подписей отказались.

– Да нет, как-то неохота, чтобы на мою фамилию все это сверху лилось и валилось, что обычно в унитазы валится. – И мы снова посмеялись, потому что хорошая масляная краска в правильной дозировке делает тебя не только творчески отточенным, но и повышенно смешливым.

Когда Ромик наконец осмотрел наше художественное усилие, он покачал головой и сообщил лишь:

– Ну, вы даете!

Мы так и не поняли, восхищен ли он нами или, наоборот, разочарован. Он снова поглядел внутрь, покачал головой.

– Да, такого еще не было. Мы первые. – снова поглядел вниз. – Ладно, пойду ваше произведение хозяйке продавать. Глядишь, купит.

Он ссутулил свою натруженную тяжелым сантехническим трудом спину и шаркающим шагом утомленного работяги потопал на кухню.

Когда Зина ввалилась в тесное, промасленное помещение, мы с Лехой молча стояли, вглядываясь в собственное произведение на дне белого, как снег за окном, унитаза.

Причем вглядывались мы внимательно, серьезно, не без критики (читай, самокритики). Лехина левая ладонь нервно потирала немного запачканный краской подбородок.

– А что, если побольше интенсивности в желтый добавить? – задался он вечным для всех живописцев вопросом. – Как у Климта, например? – предложил он, не обращая никакого внимания на полностью ошалевшую Зину. Даже головы к ней не повернул, так и продолжал глазеть вниз, на свое нетленное унитазное искусство.

– Да нет, не думаю, – покачал головой я. – Помнишь, как у Ван Гога в подсолнухах. – заметил я, сам до конца не зная, что нужно помнить в «Подсолнухах».

– Думаешь, вторично будет после Ван Гога? – поднял на меня глаза Леха.

– Ну да, пропадет оригинальность. Мы же не копию здесь лепим, мы же свое, Лех, индивидуальное творим.

Леха подумал, снова потер подбородок, но уже не так нервно, и согласился. И мы наконец перевели свои взгляды с унитаза на Зинаиду.

Видимо, начальное ее состояние – полный, коматозный столбняк – стало понемногу отходить, она вглядывалась в невинный цветочек и не могла оторваться. Ее застопорившийся взгляд трудно было разгадать, и получалось, что ждать от нее можно всего, чего угодно, – от бурного восторга до вопля безумного отчаяния. Мы с Лехой на всякий случай попятнулись поближе к выходу, судя по всему, Зинаида была женщина бойкая, возможно, даже горячая.

Но тут послышался сипловатый голос бригадира:

– Гляди-ка, Зин, как ты ребятам по сердцу пришлась. Обычно они такого не делают, знаешь, на каждый унитаз свое творчество тратить. себя не хватит. Но ты их, Зин, видать, проняла, вдохновила. Это мода такая в Штатах сейчас, до нас едва доходит только, узоры внутри унитаза применять. Но там, сама знаешь, у них на конвейере все штампуют, массовое искусство, а вот так, чтобы художник своими руками, от души, такое дорогого стоит. – При слове «дорогого» Ромик выжидательно взглянул на хозяйку. Но, не определив по внешнему виду ее настроения, добавил романтично: – Красота-то какая! Прямо как на природе, как в поле, сразу присесть хочется.

И вдруг Зина просияла. Нет, правда, как будто солнце между грозовых туч сверкнуло. И оказалось, что она очень благодарная женщина, во всяком случае, на словах.

– Ой, мальчики, – затараторила она, словно девочка, – вот молодцы, красота-то какая! – Похоже было, что она и вправду расчувствовалась не на шутку и сейчас бросится целовать либо меня, либо Леху. Лучше бы Леху, конечно. – Ой, я такого и не видала никогда, надо же. В Штатах, говорите, в моде.

Она еще говорила и о красоте, и об оригинальности, и как ей сильно по сердцу искусство, что она вообще на него падкая, вон у нее в спальне репродукция кого-то там висит, и настенные календари она тоже покупает, если на них живопись какая изображена, особенно цветы. Она бы еще щебетала и щебетала, но я ее отвлек:

– Мы сначала розочку хотели изваять, но потом подумали, что композиция у вас тут динамичная ожидается. – Я видел, что Зинаида не очень вникает в мои специфические живописные термины. Что требуется ей пояснить: – Ну, мы же здесь не со статичным полотном работаем, тут же совсем иная перспектива, объемная, так сказать. В смысле, что композиция постоянно будет меняться в зависимости от каждого, конкретного использования. И получается, что полевой цветок более расположен к динамике. К динамике цвета, да и к общей возможной барельефности. Смягчать он будет барельефность. К тому же...

Я еще подробнее объяснил бы Зине динамику композиции, но вдруг кто-то дернул меня за рукав, резко, властно, я аж пошатнулся. Пришлось прервать мысль, обернуться, бригадир скалился и скрежетал на меня зубами, выпячивал злобные глазенки из-под прозрачных очков.

Ну, я и заткнулся, в конце концов, художник не обязан разъяснять плебсу все свои завуалированные идеи. Этому еще Анна Ахматова учила молодого Иосифа Бродского. Хотя в те дремучие времена про Бродского лучше было вслух не упоминать, особенно в кругу незнакомых людей.

– Ну да, ну да, – кивала в ответ Зинаида, не сводя глаз с нежного полевого цветка. Но Ромик вернул ее на землю.

– Надо бы прибавить, Зин. По десятке хотя бы, ребята ведь так постарались для тебя.

Конечно, она могла возразить, мол, в начальную смету искусство не входило, мол, она ничего такого не заказывала. Но возражать Зина не стала, видимо, действительно на искусство падкая была и денег на него не жалела.

– О чем речь, мальчики, – легко согласилась она. А потом добавила радушно: – Ну что, теперь по сто грамм? Я уже все приготовила. И борщик, и котлетки с картошечкой.

– Правильно, теперь самое время по сто, – с энтузиазмом согласился Леха, и мы поочередно заглянули в соседнюю, тоже тесную комнатку вымытых натруженных руки.

На кухне смачно пахло едой, было чисто и светло – лампочка здесь светила не одна, как на нашем рабочем участке, а целых три. Посередине стола между расставленных тарелок и ложек возвышалась запотевшая бутылка «Пшеничной» (был такой вполне уважаемый в народе бренд), видимо, прямо из морозилки.

Ромик сразу прикрыл свою рюмку ладонью.

– Ты чего это, Роман, не будешь, что ли? – удивилась Зинаида.

– Нельзя мне, – сипло отказался бригадир.

– Чего это? – не поверила хозяйка.

Мы с Лехой с интересом ожидали, как же наш подозрительно непьющий сантехник объяснит дотошной хозяйке стоящий перед домом «Запорожец».

– Нельзя мне, – повторил бригадир, – в завязке я.

– Зашился, что ли? – вздохнула хозяйка с пониманием.

– Ага. Вроде того, – кивнул Роман.

А вот мы с Лехой выпили. И под борщик, и под картошечку, и за искусство, и особенно за скромные полевые цветы. И Зина выпила с нами, и подливала нам, и подливала себе.

Уже когда мы все втроем толкались в коридоре, натягивали на свои раздобревшие, осоловевшие тела верхнюю одежду, Зина, вернувшись в очередной раз из сортира, где в очередной раз любовалась нашим с Лехой творением, проговорила умиленно:

– Красота-то какая. Завтра девчонок позову, пусть полюбуются. Они наверняка тоже захотят, так я им твой, Ром, телефон дам?

– Ну да, ну да, – закивал бригадир, а потом предостерегающе поднял вверх указательный палец. – Только ты их предупреди, чтобы они не того, не пользовались пока-месть произведением, – проговорил он скороговоркой и взялся за ручку входной двери.

– Почему? – не поняла Зина.

– Так оно высыхать семьдесят два часа будет, – пробурчал Ромик. – Если не дотерпите, смоемся произведение полностью. Надо ему подсохнуть дать. – И он начал торопливо открывать дверь, в одной руке чемоданчик, в другой, ручка двери.

– А как же я? – растерялась Зинаида.

– Ну как-нибудь, – на ходу пробурчал бригадир. – Приспособь что-нибудь на пока.

– Что?! – уже кричала ему в спину хозяйка.

– Сама знаешь. Кастрюлю там или чего. – Ромик обернулся. – Только ничего в унитаз не спускай. Семьдесят два часа. А то размоешь искусство. Я тебя предупредил.

И мы ушли и оставили озабоченную Зину одну, наедине с подсыхающим вместе с масляной краской сортиром.

Пока «Запорожец» отогревался, мы сидели, нахохлившись, на промерзших сиденьях.

– Не уложились, – недовольно пробурчал Ромик. – Лишний час переработали. Все из-за вашего цветочка.

– Зато лишнюю десятку добыли, – оптимистично заметил Леха. – За неполных четыре часа заработали тридцать рублей. Блеск. Где еще столько добудешь?

– Да, – согласился Ромик, – ее подругам, как ни странно, ваш цветочек может понравиться. Тогда вообще, глядишь, карьеру можно будет раскрутить. – Мы все засмеялись, даже Ромик, хотя он и не пил ничего.

– Представляете, сколько в Москве унитазов, – проявил я деловую смекалку. – И никакой конкуренции.

Ромик закивал, мелко трясась от смеха.

– Это вы вообще здорово придумали, с цветочком. Хотя в любом случае вы полные мудилы.

Напоминание про недавно разбитый унитаз привело к новому взрыву хохота. От него просто некуда было деться в маленьком, согреваемом от наших теплых тел, мелко дрожащем «Запорожце».

– Ромик, а зачем мы тебе понадобились? – подал чуть позже голос Леха с заднего сиденья. – Ты же сам этот сортир мог полностью обустроить. Ну и заработать втрое.

Вопрос был серьезный, и смех понемногу стих.

– Во-первых, с друзьями надо делиться, – разумно пояснил бригадир. – А потом, правильный подход в таком деле заключается в том, что самому все сделать невозможно, надо наемный труд использовать. Ленина с Марксом проходили?

– Значит, ты нас эксплуатировал? – спросил я.

– А вы что, не почувствовали? – поинтересовался знаток «Капитала».

И мы с Лехой, не сговариваясь, ответили одновременно, почти хором:

– Не-а, не почувствовали.

Бизнес с полевыми, расписными унитазами, кстати, так у нас и не получился. Зина на следующий вечер позвонила бригадиру и сообщила, что девчонки вчера не вытерпели все-таки. Всем, конечно, красота ваша понравилась, но они же выпили, сначала «Пшеничной», потом чайком побаловались, то да се, в общем, терпели, терпели и не удержались.

«Не могла же я для них для всех посуду приспособить, – оправдывалась хозяйка. – Вот цветок и смылся. И не только цветок, еще и лужа на полу образовалась. Такое ощущение, что стебелек течь дал».

«Я ж тебя предупреждал, что потечет, – проговорил Ромик. – Там у тебя ребята технологию импортную применили, чтобы все правильно вышло. А по технологии нельзя было пользоваться. Я ж тебя, Зин, предупреждал, семьдесят два часа. Но если ты, конечно, желаешь, чтобы они восстановили тебе красоту, позвони завтра, я с ребятами переговорю».

Но Зина не позвонила ни завтра, ни послезавтра, вообще никогда. Видимо, ее любовь к искусству имела все же разумный материальный предел.

– Ну что, куда вас отвезти? – спросил Ромик, когда «Запорожец» наконец разогрел свои застоявшиеся внутренности. – Могу на «кольце» выбросить, а могу на Маяковке. Я к Юльке сейчас поеду, мы с ней уже два дня не виделись.

Я, как известно, жил с родителями на Преображенке (вернее, за Преображенкой, на Открытом шоссе), а Леха где-то в Перове. Про Перово тогда ходила такая шутка, якобы там, в районном Дворце пионеров, висел большой, на весь вестибюль, плакат, на котором большими буквами был выведен короткий стишок:

*Мы ребята из Перова
И живется нам...
Отлично.*

Говорили, что за этот стишок директора Дворца пионеров сняли с работы. Леха утверждал, что плакат действительно висел, он его сам видел, когда школьником ходил в этот самый дворец заниматься в кружке «Юный биолог».

– Так куда вам? – повторил Ромик.

Но тут Леха перегнулся с заднего сиденья вперед, лицо его оказалось прямо между нашими, моим и Ромика.

– Мужики, есть идея! – воскликнул он воодушевленно. – У нас в университетской группе сегодня сэйшен. Вечеринка в смысле. Все собираются у Таньки Филиновой. Давайте завалимся туда.

Предложение, конечно, было соблазнительное, вечер хоть и катился к ночи, но по нашим ощущениям заканчиваться ему еще было рано. Но, с другой стороны, как-то неловко заваливаться на чужой праздник, на который нас к тому же никто не звал.

– Вот я вас и зову, – возразил Леха. – А чего, все нормально, бутылка у нас есть, так что придем не с пустыми руками. А потом, у нас девчонок куча, а ребят всегда не хватает, они только рады будут.

- Симпатичные девчонки-то? – задал я самый важный вопрос.
- Есть и симпатичные, – заверил меня Леха.
- Ну чего, поедем? – спросил я Ромика, но он заколебался.
- Я Юльке обещал. Она и так ждет, я уже час как должен был быть у нее.
- А ты позвони, скажи, что сегодня не получится, скажи, что с ремонтом у Зины задерживаешься. Ведь мы запросто могли задержаться, если бы не ромашку, а розочку стали из цемента вылепливать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.